

Андрей
ШЛЯХОВ



КУМИРЫ

Истории Великой
Любви

Лев Толстой и жена
Смешной старик
со страшными мыслями

Андрей Шляхов

Лев Толстой и жена

Смешной старик
со страшными мыслями

АСТ
Астрель
Москва
ВКТ Владимир

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
Ш70

Содержание

Шляхов, А.
Ш70 Лев Толстой и жена. Смешной старик со страшными мыслями / Андрей Шляхов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 352 с.
ISBN 978-5-17-071534-3 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-32627-1 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-5-226-03675-0 (ВКТ)

«Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете. ...Но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы...» Так говорил о Софье Андреевне Лев Николаевич Толстой. Вот только абсолютно счастливый человек не смог бы написать самую гениальную фразу о несчастных семьях. Таинственная, даже отчасти пугающая личность Толстого притягивала и будет притягивать и писателей, и читателей. Однако акцентируя внимания на последних годах жизни классика, на его странном побеге, не стоит забывать, что юность и зрелость Толстого, его личная жизнь куда как более непонятны и противоречивы. Новая книга известного писателя Андрея Шляхова о великом Льве Николаевиче и его на первый взгляд скромной и тихой супруге.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-17-071534-3 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-32627-1 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-5-226-03675-0 (ВКТ)

© Шляхов А.Л., 2010
© ООО «Издательство Астрель», 2010

От автора	5
Пролог	7
Глава первая. ТОЛСТЫЕ И ВОЛКОНСКИЕ	15
Глава вторая. МЛАДШИЙ БРАТ	27
Глава третья. МОЛОДОЙ ЛЕВ	43
Глава четвертая. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ	55
Глава пятая. ВОЙНА И ЛИТЕРАТУРА	71
Глава шестая. ВАЛЕРИЯ, ИЛИ ХРАПОВИЦКИЙ ПРОТИВ ДЕМБИЦКОЙ	83
Глава седьмая. СОНЯ БЕРС	101
Глава восьмая. СВАТОВСТВО НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА	111
Глава девятая. НЕИМОВЕРНОЕ СЧАСТЬЕ ...	137
Глава десятая. ЛОЖКИ ДЕГТЯ В БОЧКЕ ИЗ-ПОД МЕДА	153
Глава одиннадцатая. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ	175
Глава двенадцатая. НЕУДАЧА С «ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ПЯТЫМ ГОДОМ» И ДОЛГОЖДАННОЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ	191
Глава тринадцатая. ТАТЬЯНА	207
Глава четырнадцатая. НАДЛОМ	219
Глава пятнадцатая. РЕКА ЖИЗНИ	235
Глава шестнадцатая. НА ПЕРЕЛОМЕ	261
Глава семнадцатая. ПРОРОК	281
Глава восемнадцатая. ЧЕРТ ПОПУТАЛ	305
Глава девятнадцатая и последняя. ПОБЕГ	335
Приложение. ДЕТИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА И СОФЬИ АНДРЕЕВНЫ	351

Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы... у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение – добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общице, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает... Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы...

А. Н. Толстой. «Утро помещика»

Из страстей самая сильная и злая и упорная – половая, плотская любовь... Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно тонченнее пользоваться удовольствиями полой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотой... Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

А. Н. Толстой. «Крейцерова соната»

От автора

Частная жизнь Льва Толстого была увлекательнее любого из его романов. Почему? В первую очередь, потому что Лев Николаевич на протяжении всей жизни пытался обрести счастье.

Далеко не всегда талант, знатное происхождение и финансовая независимость могут сделать человека счастливым.

Самая знаменитая цитата «из Толстого» – начало романа «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Если принять эту фразу за убеждение самого Толстого, то уже по ней можно сделать вывод о том, что в семейной жизни великий писатель был не очень-то счастлив. Иначе бы он знал, что счастье, так же как и его отсутствие, не может быть единым, универсальным. Каждая счастливая семья на деле счастлива по-своему.

Впрочем, в качестве интригующего, провокационного начала, приковывающего внимание к роману, эта фраза великолепна. Лев Николаевич умел завладеть вниманием, умел и удивить, и озадачить. Это относится не только к его творчеству, но и ко всей его жизни, в том числе и семейной.

В «Анне Карениной» можно прочесть следующее: «Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль о том, что в браке главное дело любовь, и что с любо-

вью всегда будешь счастлив, потому что счастье бывает только в тебе самом».

Любовь заложена в основе счастья изначально, и не может быть счастья без любви. «...Счастье бывает только в тебе самом», верно, бывает, если есть любовь...

Была ли любовь в жизни Льва Толстого? И если была, то кого он любил?

Кем стала для великого писателя его жена? Добрым ангелом? Верной почитательницей? Хранительницей домашнего очага? Или, быть может, завистливой недоброжелательницей, ревновавшей мужа к его славе?

Каким мужем оказался Лев Толстой? Нашла ли Софья Андреевна в нем тот идеал, о котором она грезила в юности? И что представляла собой их семья – союз двух любящих сердец, упоительное единство двух возвышенных душ, ристалище, на котором никому так и не удалось одержать полной победы, или сосуществование двух личностей, основанное на взаимной выгоде?

Может ли гений вообще быть счастлив? Ведь он так непохож на остальных людей?

И можно ли быть счастливой, живя вместе с гением? Не уподобляется ли спутник жизни гения земледельцу, возделывающему плодородные земли у подножия вулкана и постоянно с опаской оглядывающемуся – не началось ли извержение?

Но – довольно вопросов! Пора приниматься за чтение, пора узнавать ответы...

Пролог

В феврале 1854 года Берсам нанес визит их старый знакомый, граф Лев Николаевич Толстой, друг детства матери семейства Любви Александровны. Лев Толстой бывал у Берсов и раньше, но этот визит был особым. Старый знакомый предстал в новом, героическом, облике.

Герой служил на Кавказе, принимал участие в настоящих сражениях, недавно получил офицерский чин и сейчас следовал к новому месту службы – в Дунайскую армию, штаб которой был расквартирован в румынском Бухаресте. Следовал, надо сказать, весьма неспешно, сделав более чем тысячеверстный крюк для того, чтобы побывать дома, в имении Ясная Поляна, расположенном в Тульской губернии, и немного развеяться в первопрестольной. Чин у Толстого был невелик – всего-навсего прапорщик, но благодаря своей манере держаться, манере, в которой энергичность гармонично сочеталась с серьезным, чуточку усталым видом много повидавшего человека, он произвел неизгладимое впечатление на всех трех дочерей врача Московской дворцовой конторы, гофмедика Андрея Евстафьевича Берса. Впечатление это усиливалось щегольским видом бравого воина – роскошной шинелью со стоячим бобровым воротником, новым, с иголочки, офицерским мундиром, еще не успевшими потускнеть погонами и приятно поскрипывающей при каждом движении портупеей. Одиннадцатилетняя Лизочка, десятилетняя Сонечка и восьмилетняя Танечка

не сводили с гостя сияющих, восторженных глаз — герои бывали у них дома не часто. Отец девочек имел чин коллежского асессора, соответствовавший майорскому, но, увы, в нем не было ровным счетом ничего героического. Обычный врач — участливый взгляд, мягкое обращение и, граничащая с занудством, профессиональная привычка в каждом вопросе непременно докапываться до первопричины.

Восхитительный гость был не только героем, но и писателем. В некоторых персонажах его автобиографической повести «Детство» проступали столь явственные черты родственников Любови Александровны, что у Берсов эта повесть стала семейным чтением, чем-то вроде семейной летописи. Сонечка настолько увлеклась «Детством», что самозабвенно заучивала наизусть огромные отрывки из повести. Память у нее всегда была хорошая.

Отец Любови Александровны Берс, Александр Михайлович Исленьев, был соседом и приятелем Николая Ильича Толстого, отца Льва Николаевича. Оба они были страстными охотниками. Красное, имение Исленьевых, находилось всего в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны, благодаря чему Николай Ильич и Александр Михайлович проводили вместе много времени, то и дело гостя друг у друга. Маленький Лев не преминул влюбиться в очаровательную проказницу Любочку, бывшую тремя годами старше его. Любочка не оценила чувства и кокетничала со старшими братьями своего обожателя, за что тот в порыве ревности наказал ее, столкнув с балкона яснополянского дома.

Сергей Берс, брат Лизы, Сони и Тани, рассказывал в своих воспоминаниях: «По свидетельству покойной тетушки Льва Николаевича, Пелагеи Ильиничны Юшковой, в детстве он был очень шаловлив, а отроком от-

личался странностью, а иногда и неожиданностью поступков, живостью характера и прекрасным сердцем.

Моя покойная матушка рассказывала мне, что, описывая свою первую любовь в произведении «Детство», он умолчал о том, как из ревности столкнул с балкона предмет своей любви, которой и была моя матушка девяти лет от роду, которая после этого долго хромала. Он сделал это за то, что она разговаривала не с ним, а с другим. Впоследствии она, смеясь, говорила ему: «Видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтобы потом жениться на моей дочери»».

Любочка носила фамилию Иславина, так как считалась незаконнорожденной дочерью от третьего по счету брака своего отца с княгиней Козловской, сбежавшей от первого мужа и тайно обвенчавшейся с Исленьевым. Разъяренный князь Козловский, желая хоть чем-то досадить своей неверной супруге, выставившей его на посмеище, добился признания ее брака с Исленьевым незаконным, из-за чего все шестеро детей от этого брака были лишены права носить настоящую отцовскую фамилию, а были вынуждены довольствоваться несколько измененным вариантом.

В небольшой казенной квартире Берсов, расположенной в здании Кремлевского дворца, было не слишком просторно, но уютно, несмотря на то, что громоздкая и неудобная казенная же мебель вынуждала не ходить, а обходить, не располагаться, а пристраиваться. Толстого усадили на самый удобный, правда, немного низкий, стул из красного дерева. После его ухода Сонечка в избытке чувств повязала на стул ленточку — праздник, поселившийся в ее душе, требовал каких-то торжественных действий.

Лев Толстой мелькнул ослепительной вспышкой и уехал в Бухарест — сражаться с неприятелем. При мысли о нем — а мысли эти приходили очень часто — серд-

ца трех сестер начинали биться часто-часто, и, должно быть, каждая из них мечтала о том, как в один поистине прекрасный день граф Толстой возьмет ее за руку и поведет под венец. Трепещущее сердце на мгновение замирало, чтобы не спугнуть столь упоительное видение, вокруг начинала звучать волшебная музыка, а темная даже в ясный день квартира наполнялась ослепительным сиянием... Ах, уж эти девичьи мечты, вдохновившие ехидного романтика Беранже посвятить им целое стихотворение:

*Полузакрты мечтами
Юной красавицы взоры.
Блещут на солнце, с цветами,
Кружев тончайших узоры.
Полузакрты мечтами
Юной красавицы взоры.*

*Ясно улыбка живая
Мысль перед сном сохранила.
Спит она, будто играя
Всем, что на свете ей мило.
Ясно улыбка живая
Мысль перед сном сохранила.*

*Как хороша! Для искусства
Лучшей модели не надо!
Видны все проблески чувства,
Хоть не видать ее взгляда.
Как хороша! Для искусства
Лучшей модели не надо!*

*Сон чуть коснулся в полете
Этой модели прекрасной.
Что ж в этой сладкой дремоте*

*Грудь ей волнует так страстно?
Сон чуть коснулся в полете
Этой модели прекрасной...*

(перевод В. С. Курочкина)

Навряд ли в 1854 году Лев Толстой мог всерьез задуматься о женитьбе на ком-то из дочерей Берсов. Все произошло гораздо позже. Одно время казалось, что Лев Николаевич посватается к самой старшей, Лизе, но в итоге «счастье» улыбнулось Сонечке – именно она стала графиней Толстой. Не была обойдена вниманием графа и Таня, послужившая прототипом Наташи Ростовской из «Войны и мира».

Рука графа досталась средней из сестер, но свою долю страданий получили от него все трое... Впрочем, любая история хороша лишь в том случае, если рассказывается по порядку...

Глава первая

ТОЛСТЫЕ И ВОЛКОНСКИЕ

Граф Николай Ильич Толстой, отец Льва, был хорош собой и очень гордился своим происхождением, шедшим от литовского рыцаря Индроса, который в XIV веке перешел в православную веру и поселился в Чернигове. Праправнук рыцаря Индроса получил от великого князя Василия Темного прозвище Толстый, или, как тогда говорили, Толстой, с ударением на последнем слогѣ. Прозвище стало родовой фамилией, которую прославил

Петр Андреевич Толстой, дослужившийся при Петре I до поста начальника Тайной канцелярии. Высокий пост вместе с богатыми поместьями Петр Андреевич получил за то, что сумел уговорить вернуться в Россию из Неаполя беглого царевича Алексея. На родине царевича вместо отцовского прощенья ждали следствие, состоящее из допросов под пытками, тайный суд и тайная же казнь. Все это происходило при деятельном участии Петра Толстого. Императрица Екатерина, признательная Толстому за то, что он расчистил ей путь к трону, в день своей коронации 7 мая 1724 года даровала Петру Андреевичу графский титул.

Сменивший на престоле Екатерину Петр II, сын казненного царевича Алексея, отомстил за смерть отца, сослав Петра Толстого, недавно разменявшего девятый десяток, в Соловецкий монастырь, где тот и умер в 1729 году. Казалось, что звезда рода Толстых закатилась навсегда, но Бог миловал — в 1760 году императрица Елизавета Петровна возвратила графское досто-

инство, отобранное у Петра Андреевича Толстого, его внуку Андрею Ивановичу, прадеду Льва Николаевича.

«Про Андрея Ивановича, женившегося очень молодым на княжне Щетининой, я слышал от тетушки такой рассказ, — вспоминал Лев Толстой. — Жена его по какому-то случаю без мужа должна была ехать на какой-то бал. Отъехав от дома, вероятно, в возке, из которого вынута было сиденье, для того, чтобы крышка возка не повредила высокой прическе, молодая графиня, вероятно лет семнадцати, вспомнила дорогой, что она, уезжая, не простилась с мужем, и вернулась домой.

Когда она вошла в дом, она застала его в слезах. Он плакал о том, что жена перед отъездом не зашла к нему проститься».

О родителях своего отца Лев Николаевич вспоминал так:

«Бабушка, Пелагея Николаевна, была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Николая Ивановича Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие о ее характере, она была недалекая, малообразованная, — она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном — женщина...

Дед мой, Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимал, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное — доверчивый. В имении его, Белевского уезда, Полянах, — не Ясной Поляне, но Полянах, — шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катания, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, займы и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам, кончились тем, что большое имение его жены все было

так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани.

Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему. Но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения».

Граф Илья Толстой, промотав как свое весьма солидное состояние, так и состояние жены, сохранил легкость в отношении к деньгам и на губернаторском посту. Губернаторство Ильи Андреевича кончилось скверно — специальная сенатская комиссия занялась проверкой его счетов. По официальной версии граф заболел от расстройства, вызванного проверкой, и вскоре скончался. По неофициальной — он покончил с собой, чтобы избежать позора.

Его сын Николай пытал счастья на военном поприще, но не очень удачно — 14 марта 1819 года он был уволен по болезни в отставку с присвоением чина подполковника. В грозном 1812 году Николай начал службу гусарским корнетом, в скором времени стал адъютантом генерала Горчакова, своего близкого родственника по матери, но затем попал в плен к французам и был освобожден лишь в 1815 году после вступления войск союзников в Париж. Сделать значимую карьеру не удалось. Не видя никаких перспектив в продолжении службы, Николай Толстой вышел в отставку и поселился с родителями (отец его тогда еще был жив) в Казани.

В семье Толстых с детства воспитывалась бедная сиротка из дальних родственников по линии Горчаковых — Татьяна Александровна Ергольская, которая росла вместе с Николаем и его сестрами Александрой и Пелагеей.

Вот как вспоминал о Татьяне Ергольской сам Лев Толстой: «Третье, после отца и матери, самое важное в смысле влияния на мою жизнь, была тетенька, как мы

называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушки. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили. Девочек же порешили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка; свернули билетки и положили под образа; помолвившись, вынули, и Лизанька досталась Тат. Сем., а черненькая бабушке. Таничка, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году и воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и, вместе с тем, самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которую она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать то же. “Я сделаю”, — сказала она. “Не сделаешь”, — сказал Языков, мой крестный отец, и, тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. “Вот приложи это к руке”, — сказал он. Она вытянула голую руку, — тогда девочки ходили всегда декольте, — и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки, застонала она только тогда, когда линейка с кожей отдралась от руки. Когда же большие увидели ее рану и стали спрашивать, как это случилось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.

Такая она была во всем решительная и самоотверженная.

Должно быть, она была очень привлекательная со своей жесткой черной, курчавой, огромной косой, ага-тово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «*Toinette, oh, elle etait charmant!*» *е.

Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой.

Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери...»

Это в гору воз поднимается трудно, требуя, чтобы его постоянно волокли или подталкивали, под гору он катится сам по себе, все набирая и набирая скорость. Благосостояние рода Толстых истаяло, словно апрельский снег, поместья были проданы, и отставной подполковник Николай Толстой был вынужден поселиться с матерью и кузиной в Москве (квартира их была весьма скромной) и, ради хлеба насущного, вновь поступить на военную службу. 15 декабря 1821 года его определили в Московское военно-сиротское отделение на должность смотрительского помощника. Иначе говоря, он стал заместителем директора сиротского приюта. Пусть приют был не совсем обычным, а предназначался для детей военных, все равно это обстоятельство ничего не меняло — унынием и бедностью оборачивалась жизнь. Хорошо еще, что Николаю не пришлось заботиться о сестрах. Александра к тому времени вышла замуж за графа Остен-Сакена, а Пелагея — за довольно богатого казанского помещика Юшкова.

* «Туанет, о, она была очаровательна!» (фр.).

Судьба сжалилась над Николаем и послала ему шанс. Шанс звался Марией Николаевной Волконской. Мария была некрасивой, далеко не юной, но очень богатой и принадлежала к знатному роду, ведущему свое происхождение от самого Рюрика, одному из потомков которого в XIV веке достались во владение угодья на берегах реки Волконы близ Тулы. Отец Марии, князь Николай Сергеевич Волконский, не чаял души в единственной дочери, оставшейся без матери в раннем детстве. Ее мать, княгиня Екатерина Дмитриевна Трубецкая, умерла в 1792 году, когда Марии было два года. Благодаря заботам отца Мария получила прекрасное образование. Кроме обязательного французского языка, ставшего родным языком русской аристократии того времени, Мария знала английский, немецкий и итальянский. Она разбиралась в искусствах и сама великолепно музицировала на фортепьяно, а кроме того, была знакома с алгеброй и геометрией.

Как уже было сказано, Мария не была красива, больше всего ее портили густые отцовские брови, хорошо смотрящиеся на многих мужских лицах и совершенно неуместные на женском. Стараниями отца у нее появился жених — один из двух сыновей князя Сергея Голицына, но бедняга умер от тифа до свадьбы. Мария восприняла смерть жениха как знак свыше и более о замужестве не мечтала, решив посвятить свою жизнь не мужу, а отцу.

Провинциальная жизнь в княжеском имении Ясная Поляна текла размеренно и скучно, пока 3 февраля 1821 года не умер старый князь. Его смерть стала потрясением для дочери, которой недавно исполнился тридцать один год. Мария остро осознала свое одиночество и свою никчемность. Если раньше она жила для отца, то с его уходом жизнь ее потеряла свой смысл.

Оставаться в Ясной Поляне, где все напоминало об отце, было невозможно, и княжна переехала в Москву,

где у нее был собственный двухэтажный дом. Прижилась, освоилась и даже начала выезжать, скорее всего не в поисках подходящей партии (невесты, разменявшие четвертый десяток, в тогдашнем обществе не котировались совершенно), а для того чтобы развлечься.

Граф Николай Ильич Толстой, с которым Мария познакомилась в свете, оказался милым, обходительным и холостым. Познакомились они не случайно, сам Лев Николаевич писал о том, что его родителей свели родственники с обеих сторон. Мария уже и не надеялась выйти замуж, а Николай уже успел смириться с мыслью о том, что окончит дни свои в бедности, считая каждый грош. Но — не сбылось, а, если точнее — сбылись мечты. 9 июля 1822 года княжна Мария Николаевна Волконская вышла замуж за графа Николая Ильича Толстого, отдав ему руку, сердце, нерастратенную любовь, имение в Ясной Поляне и общим счетом восемьсот крепостных душ мужского пола (то есть восемьсот крепостных крестьянских семей) в Тульской и Орловской губерниях.

Брак, в котором хотя бы с одной из сторон присутствует расчет, зачастую оказывается гораздо крепче брака, заключенного по взаимной горячей любви. Николай с удовольствием устроился под каблуком у жены, превосходившей его умом и твердостью характера, и был рад возможности зажить на довольно широкую ногу. Мария сумела наладить более-менее сносные отношения не только со своей весьма своенравной свекровью, но и с кухней своего мужа. В семье воцарилась гармония или, может быть, весьма достоверное ее подобие.

21 июня 1823 года Мария Николаевна родила первенца Николая. Вскоре счастливый отец вышел в отставку, московский дом был продан, и все семейство переехало в Ясную Поляну, где Николай Толстой примерил на себя роль помещика, которая пришлась ему по душе. Хозяйственные заботы перемежались с визи-

тами и охотами, а если вечер выдавался тихим, то граф проводил его за чтением — в Ясной Поляне стараниями князя Николая Сергеевича была собрана отличная библиотека.

Жизнь наладилась. 17 февраля 1826 года Мария родила второго сына, которого назвали Сергеем. 23 апреля 1827 года на свет появился третий ребенок — Дмитрий. Годом позже родился четвертый сын, о котором в церковной книге было записано: «1828 года, августа 28 дня сельца “Ясной Поляны” у графа Николая Ильича Толстого родился сын Лев, крещен двадцать девятого числа священником Василием Можайским с дьяконом Архипом Ивановым, дьячком Александром Федоровым и пономарем Федором Григорьевым. При крещении восприемниками были: Белевского уезда помещик Семен Иванов Языков и графиня Пелагея Толстова».

Графиня Пелагея Николаевна Толстова приходилась Льву Николаевичу бабушкой по отцу.

2 марта 1830 года у Толстых родилась девочка, которую назвали Марией в честь матери. Роды плохо сказались на здоровье матери — у нее появились сильные головные боли, сопровождаемые лихорадкой. Усилия врачей и молитвы оказались тщетными, несчастная угасала на глазах и 4 августа 1830 года скончалась, оставив пятерых детей своих на попечение безутешного супруга. Семейный союз, сложившийся столь удачно, продлился всего восемь лет.

Спустя почти семьдесят шесть лет, 10 марта 1906 года, Лев Николаевич Толстой напишет: «Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление — желание ласки — любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому я мог бы прильнуть так?

Перебираю всех любимых мною людей — ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой любви тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. Все это безумно, но все это правда».

У него не было ее портрета, один лишь силуэт, вырезанный из черной бумаги еще в детском возрасте, но это не помешало воображению создать Образ. «Я отчасти рад этому, — признавался Толстой, упоминая об отсутствии изображений матери, — потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно... Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне». Память о матери превратилась в настоящий культ, которому великий писатель служил всю свою жизнь. Сердце сына принадлежало матери, лучшей из женщин, самой любимой, родной, единственной, и для других женщин места в нем не оставалось.

«Мать моя была нехороша собою, но очень хорошо образована для своего времени, — писал Лев Николаевич. — Она знала, кроме русского, на котором она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, — четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, — и должна была быть чутка к искусству; она хорошо играла на фортепиано, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое ка-

чество было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет, — рассказывала мне ее горничная, — но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.

У меня осталось несколько писем ее к отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было шесть лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более других похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата; их равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми.

Кроме того, у обоих была еще другая черта, обуславливающая, я думаю, их равнодушие к суждению людей, — это то, что они никогда никого, это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, никогда никого не осуждали. Наиболее резкое отрицательное отношение к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее...

Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: «несравненная, обожаемая, радость всей моей жизни, неоцененная» и т. д. — были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее...

Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: «mon petit Benjamin» (намек на библейского Вениамина младшего сына патриарха Иакова. — А.Ш.).».

Глава вторая

МЛАДШИЙ БРАТ

После смерти Марии Николаевны обязанности хозяйки дома сами собой перешли к Татьяне Ергольской. Спустя шесть лет Николай Толстой предложит ей выйти за него замуж, но она откажется, пообещав, что по мере своих возможностей будет и впредь стараться заменить мать его детям и никогда не покинет их.

Отдав всю свою нежность детям любимого человека, Татьяна сумела если не заменить им мать, то окружить их не менее сильной любовью. Дети платили ей взаимностью, не чая души в тетушке Туанет, таково было домашнее прозвище Ергольской. Лев Толстой отметит огромное влияние, которое тетушка Туанет оказала на его жизнь. «Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни... Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой материальной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно добрых отношениях к ближайшим лицам, которые не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознавании убегающего времени».

Ранние детские воспоминания Льва Толстого полны переживаниями по поводу собственной несвободы. Не в этом ли крылись истоки его вечного стремления идти наперекор всему, всегда поступать так, как хочет-

ся, как диктует собственная воля, без оглядки на окружающих, да и на все общество в целом?

«Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И все это в полутьме, но я помню, что двое; и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче...»

«...Посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться».

До пяти лет Леву воспитывала няня при участии тетушки Туанет, занимавшейся со всеми мальчиками французским языком, а затем он был отдан в руки воспитателя Федора Ивановича Росселя, добродушного и снисходительного немца. Лева поначалу побаивался нового воспитателя, но быстро привык к нему и даже полюбил. Позже, в повести «Детство», Лев Николаевич не оставит без внимания своего первого воспитателя и опишет его таким, каким помнил, не забыв ни домашнего халата, в котором тот имел обыкновение расхаживать, ни смешного колпака с кисточкой. Писатель лишь сменит имя своего героя с Федора на Карла. «Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно

милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты».

Из братьев он был самым младшим, что обрекало его на вечное им подражание. Братья были разными, и каждый из них был дорог Левушке по-своему. Дмитрий, то ли в силу своего мягкого характера, то ли из-за минимальной, в сравнении с другими братьями, разницы в возрасте, был ближе всего ему по духу. Сергей восхищал множеством своих талантов и некоторой загадочностью. Старший брат, Николай, был неистощим на выдумки и любил изобретать новые игры и забавы. Он весьма увлекательно рассказывал братьям обо всем, что приходило ему на ум, будь то таинственная зеленая палочка, хранящая секрет всеобщей любви, или путешествие на Фанфаронову гору. Братья тотчас же загорались идеями Николая и были готовы пойти ради них на великие жертвы. Так, например, на Фанфаронову гору вместе с Николаем мог отправиться лишь тот, кто выполнит ряд условий. «Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе, — вспоминал Лев Толстой. — Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное... пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье легкое: в продолжение года не видать зайца, все равно, живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн».

Отец, Николай Ильич, детям много времени не уделял. Мог под настроение заглянуть в детскую, посмеяться вместе с детьми над рассказанной им же самим историей, мог попросить прочитать стихотворение и, похвалив за старание, удалиться. Он никогда не был близок к своим детям, так же как и его сын Лев. То ли наследственность сказывалась, то ли маленький Ле-

вущка неосознанно скопировал отцовскую манеру поведения и перенес ее в свою семью.

«Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: “К морю”: “Прощай, свободная стихия...” и “Наполеон”: “Чудесный жребий совершился: угас великий человек...” и т. д. ... Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянувшись с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сюртук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в “Графе Нулине”».

Детство Толстого в Ясной Поляне было веселым, и, если бы не ранняя смерть матери, его можно было бы назвать безоблачным. Все вокруг было наполнено любовью, нежностью, счастьем. «Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? — писал во

взрослом возрасте Лев Толстой. — Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?»

Детям в Ясной Поляне жилось вольготно. Игры, прогулки и всяческие развлечения занимали гораздо больше времени, чем учеба. В особый восторг Левушку приводили ночевки у бабушки Пелагеи Николаевны, выпадавшие поочередно каждому из пяти детей. Бабушка долго мыла руки, пуская при этом презабавнейшие мыльные пузыри, а затем начиналось подлинное волшебство — слепой сказочник из крепостных заводил свой рассказ: «У одного владетельного царя был единственный сын...»

Лева не слушал сказки, его завораживал таинственный вид бабушки, лежавшей в постели, завораживали тени, колеблющиеся на стене в дрожащем свете лампы, завораживали непонятные и оттого казавшиеся торжественными слова. Слова убаюкивали, и Левушка засыпал.

«Бывает за обедом и еще удовольствие, — вспоминал Толстой, — когда на меня обращают внимание и выставляют перед публикой мое искусство составлять шарады.

— Ну-ка, Левка-пузырь (меня так звали, я был очень толстый ребенок), отличись новой шарадой! — говорит отец.

И я отличаюсь шарадой в таком роде: мое первое — буква, второе — птица, а все — маленький домик. Это б — утка — будка. Пока я говорю, на меня смотрят и улыбаются, и я знаю, чувствую, что эти улыбки не значат то, что есть что-нибудь смешного во мне или моих речах, а значит то, что смотрящие на меня любят меня. Я чувствую это, и мне восторженно радостно на душе».

Кроме тетушки Туанет, была еще и тетушка Алин, Александра Ильинична, сестра Николая Ильича, та самая, которая вышла замуж за графа Остен-Сакена. Замужество оказалось крайне неудачным — граф страдал психическим заболеванием, которое делало совместную жизнь с ним опасной в прямом смысле этого слова. Вскоре после свадьбы он попытался застрелить жену из пистолета, а в другой раз вооружился бритвой и чуть было не отрезал несчастной язык. Графа поместили в лечебницу, а беременная Александра поселилась у брата. Пережитые волнения не могли не сказаться на ее ребенке, который родился мертвым. Мать и брат, опасаясь, как бы Александра в отчаянии не наложила на себя руки, солгали ей, что ребенок жив, выдав за него новорожденную девочку, взятую со стороны. Не получив земного счастья, Александра стала искать его на небесах. Она обратилась к Богу, ходила в простых темных одеждах, денно и ночью молилась, строго соблюдала посты, привечала странников, «божьих людей», которые останавливались на ночлег в доме Толстых. От хорошенькой восторженной девушки, какой она была когда-то, остались только голубые глаза, да и они потускнели от горя.

Помещик Темешов, дальний родственник по Горчаковым, живший в сорока верстах от Ясной Поляны, пристроил Николаю Ильичу на воспитание свою незаконнорожденную дочь Дунечку. «Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса, — вспоминал Толстой. — Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по 5 лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда на наш рев пришли, мы ничего не могли вы-

говорить от отчаянных слез... Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких других, кроме братских отношений».

Когда Леве исполнилось восемь, семья переехала в Москву, чтобы дети могли там продолжить образование, для которого уроков одного лишь Росселя было недостаточно. Левушку переезд страшил — жаль было покинуть родные стены, где все было таким знакомым, таким дорогим, и отправляться в неизвестность. Москва казалась далекой, чужой и даже враждебной.

10 января 1837 года семейство Толстых в полном составе выехало в Москву. Сто девяносто шесть верст «семейный обоз» преодолел за четыре дня — ехали обстоятельно, не спеша.

Москва поразила Леву, мальчику, уютный мирок которого доселе был ограничен Ясной Поляной, открылся настоящий мир! «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, — писал он в «Отрочестве», — что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании».

Поселились в снятом Николаем Ильичом доме Щербачева на Плющихе, ныне это дом № 11. Дом оказался большим — два этажа (правда, один — полуподвальный), фасад в одиннадцать окон, но, в сравнении с яснополянским, казался тесным. Но делать было нечего — пришлось привыкать к московской жизни. К лету мальчик в какой-то мере освоился, но тут пришла новая беда — умер отец. Николай Ильич Толстой не отличался здоровьем и к тому же много пил. 21 июня 1837 года он скоропостиж-

но скончался от апоплексического удара. Произошло это прямо на улице в Туле, куда граф отправился по делам.

«Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер», — признавался Толстой в «Воспоминаниях».

Пелагея Николаевна тяжело переживала смерть сына, и хозяйственные заботы приняла на себя Александра Ильинична, в силу своей отрешенности от земной жизни начисто лишенная практицизма. Вскоре финансовые дела семьи пришли в упадок.

«Пришла беда — открывай ворота!» — в том же злосчастном 1837 году на Лёву обрушилось новое несчастье. Бабушка, тяготевшая к гувернерам-французам, вознамерилась уволить добрейшего Федора Ивановича и заменить его неким Проспером Сен-Тома, молодым, бездушным и самодовольным. Педагог из Сен-Тома был никудышный — он не воспитывал своих учеников, а обламывал их, причем делал это грубо и безапелляционно. Лощеный француз настолько пленил старую графиню, что она доверила ему не только воспитание внуков, но и общее руководство чуть ли не дюжиной учителей, дававших им уроки. Федор Иванович умолил старую графиню оставить его при детях без жалованья, так как не в силах был расстаться с ними.

Несмотря на взаимную неприязнь, именно Проспер Сен-Тома первым разглядел в Лёве будущего писателя. «У этого ребенка голова! — сказал он однажды. — Это маленький Мольер!»

Лёва рос задумчивым, всегда был занятым собой, своими мыслями. Его постоянно занимал один и тот же вопрос — что думают о нем окружающие, какие чувства испытывают они к нему. Самый младший из бра-

тьев был на удивление честолюбив и всячески старался привлечь к себе внимание. Ради этого он мог даже выпрыгнуть из окна второго этажа.

Лёва сильно переживал по поводу своей неказистой внешности, особенно усилились эти переживания, когда он впервые влюбился. Его избранницей стала Сонечка Колошина, очаровательная девятилетняя девочка, приходившаяся Толстым дальней родственницей. Мать Сонечки, Александра Григорьевна Салтыкова, была правнучкой графа Федора Ивановича Толстого, брата графа Андрея Ивановича Толстого, прадеда Лёвы Николаевича, и, следовательно, приходилась Лёву четвероюродной сестрой. Короче говоря — седьмая вода на киселе. В «Детстве» Сонечка Колошина выведена под именем Сонечки Валахиной. «Я не мог надеяться на взаимность, — рассказывает автор устами главного героя Николеньки, — да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастьем. Я не понимал, чтобы за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно прилиwała к нему, и хотелось плакать».

Спустя пятьдесят с лишним лет Лёву Толстому захочется написать роман о целомудренной любви, подобной его влюбленности в Сонечку Колошину, любви, «для которой невозможен переход в чувственность, которая служит лучшим защитником от чувственности». К чувственности у Лёвы Николаевича отношение было двойственным — то и дело проявляя ее в повседневной жизни, он рьяно открепивался от нее на словах. То ли находил в этом изысканное наслаждение, то ли просто пытался произвести впечатление на окружающих. Привычки, ус-

военные в детстве, обычно сохраняются на протяжении всей жизни.

Чувство к Сонечке вскоре сменилось влюбленностью в Любочку Иславину, ту самую, которая впоследствии станет его тещей. Очаровывали Леву и мальчики из числа сверстников, он вообще любил все красивое.

В мужчин я очень часто влюблялся, первой любовью были два Пушкина, потом 2-й — Сабуров, потом 3-ей — Зыбин и Дьяков, 4 — Оболенский, Блосфельд, Иславин, еще Готье и многие другие. Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или не понравиться любимому предмету, просто страх... Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности педрастии (так написано автором. — *А.Ш.*), — но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову. Станный пример ничем не объяснимой симпатии — это Готье. Не имея с ним решительно никаких отношений, кроме по покупке книг. Меня кидало в жар, когда он входил в комнату. Любовь моя к Иславину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему. Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви — совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко

мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство. Ежели и испытываю, то не так страстно, и к тем людям, которые меня любят, т. е. наоборот того, что было прежде. Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любоврические картины, напротив, я имею страшное отвращение».

«Два Пушкина» — это Саша и Алеша Мусины-Пушкины, друзья детства Льва Толстого, выведенные им в повести «Детство» под именем братьев Ивиных. О чувстве, которое испытывает Николенька Иртеньев (то есть сам автор) к Сереже Ивину (прототипом которого послужил младший из братьев Мусиных-Пушкиных — Саша), Толстой рассказывает очень подробно: «Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и наяву были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства — так много я дорожил им... Я... ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне

не менее сильной степени другое чувство — страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему... Я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастья, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему... Между нами никогда не было сказано ни слова о любви, но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях... Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным, но выйти из-под него было не в моей власти. Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия».

Таким уж человеком был Лев Толстой — любовь обычно заканчивалась для него разочарованием. Да и само слово «любовь» великий писатель понимал по-своему. «Всякое влечение одного человека к другому я называю любовью», — писал он в «Отрочестве». И пояснял уже в дневнике: «Я понимаю идеал любви: совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал».

Можно вспомнить и о «Казаках», где отношения между Лениным и Лукашкой описываются так: «Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться». Схожая тема затронута и в «Воине и мире», где молодой офицер Ильин «старался во всем подражать Ростову и как женщина был влюблен в него».

25 мая 1838 года умерла бабушка. «Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней», — писал Толстой в «Отрочестве». Лева порази-

ла сама близость смерти, мальчик открыл для себя, что все сущее имеет конец, и свыкнуться с этой мыслью, конечно же, было нелегко. «Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью».

До нашего времени дошла сводка по основным доходам и расходам по всем имениям Толстых на 1837 год, сохраненная Татьяной Ергольской. Доходы были таковы: по Пирогову общая сумма составляла 10 384 рубля; по Никольскому — 12 682 рубля; по Ясной Поляне — 6710 рублей; по Щербачевке — 5285 рублей; по Неручу — 8958 рублей. Итого — 44 019 рублей.

Расходы же были следующие: взносы в Опекунский совет — 26 384 рубля; подушные за дворовых — 400 рублей; жалованье приказчикам в имениях — 1700 рублей; выдачи по назначению — 400 рублей; разъезды и подарки (не исключено, что речь шла о взятках) — 1200 рублей. Итого — 30 084 рубля.

Остаток составлял примерно 14 000 рублей, но для жизни в Москве этих денег было мало. 8304 рубля, судя по тем же записям, составляло совокупное годовое жалованье учителям, в 3500 рублей обходилась годовая аренда дома. На год жизни в Москве оставалось 2200 рублей. Этих денег не хватало, поэтому после похорон тетушки решили из соображений экономии разделить семью на две части. Четырнадцатилетний Николай и двенадцатилетний Сергей остались в Москве с тетушкой Алин, а Дмитрий, Лев и Мария вернулись в Ясную Поляну с тетушкой Туанетт. Лева был рад возвращению, он скучал по родному дому, а кроме того, ненавистный Сен-Тома остался со старшими братьями в Москве.

В конце лета 1841 тетушка Алин умерла в Оптиной пустыне, уйдя туда незадолго до смерти. Новой опекуной стала другая тетушка – Пелагея Юшкова, которая забрала детей к себе в Казань. Пелагея Ильична у детей авторитетом не пользовалась (хотя бы потому, что ее пришлось упрашивать принять на себя опеку и воспитанием их практически не занималась. В Казани закончилось детство Льва и началась самостоятельная жизнь.

Глава третья

МОЛОДОЙ ЛЕВ

Жажда чужого внимания, ради которого маленький Левушка когда-то выпрыгнул из окна второго этажа, в юности только усилилась. В Панове, имении Юшковых, расположенном на левом берегу Волги в двадцати девяти верстах от Казани, перед господским домом был пруд с островом. Как-то раз, летом, на глазах у гостивших в Панове барышень, Лев, не снимая одежды, бросился в пруд, желая доплыть до острова, и чуть было не утонул. Его спасли крестьянки, убравшие сено. Они опустили в воду грабли, ухватившись за которые, незадачливый пловец выбрался на берег.

Когда настало время продолжить образование в университете, Лев выбрал факультет восточных языков. По тем временам восточный факультет Казанского университета пользовался известностью во всем ученом мире. Толстого привела сюда не страсть к ориенталистике, а более практические соображения. Достойный член аристократического общества (родство с самим Рюриком в глазах света значило много), он избрал было для себя самое аристократическое поприще — дипломатию.

Для поступления на восточный факультет нужно было сдать экзамены по истории, географии, статистике, математике, русской словесности, логике, латинскому, французскому, немецкому, арабскому, турецко-татарскому и английскому языкам. Более двух лет готовился Толстой к поступлению, и в сентябре 1844 года был принят в число студентов Восточного отделения философского факультета Казанского университета.

Студенческая жизнь пришлась ему по душе. «Я любил этот шум, — вспоминал Толстой, — говор, хохотню по аудиториям, любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей, любил иногда с кем-нибудь сбегать... выпить водки и закусить и, зная, что за это могут распечь, после профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию; любил участвовать в проделке, когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре. Все это было очень весело». Учился Толстой без усердия и прилежания, отдавая светским увеселениям гораздо больше времени, чем учебе. Да и вообще, его больше занимали рефлексии и самоанализ, нежели восточные языки.

Одна из казанских знакомых Толстого вспоминала о том, что на балах он неизменно бывал рассеян, танцевал весьма неохотно и вообще имел вид человека, мысли которого витают далеко-далеко. Вследствие этого между барышнями он считался скучным кавалером и популярностью не пользовался.

«В качестве родовитого, титулованного молодого человека с хорошими местными связями, внука бывшего губернатора и выгодного жениха в ближайшем будущем Лев Николаевич был везде желанным гостем, — писал в 1894 году историк Николай Загоскин. — Казанские старожилы помнят его на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим, но далеко не светским дамским угодником, какими были другие его сверстники, студенты аристократы; в нем всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застенчивость; он, видимо, стеснялся тою ролью, которую его заставляли играть и к которой *volens-nolens* (волей — неволей. — *А.Ш.*) обязывала его пошлая обстановка его казанской жизни».

Под влиянием нравов аристократического общества Толстой начал делить всех людей на светских и несвет-

ских, или на людей *comme il faut* и *comme il ne faut pas* и очень долго придерживался этого правила.

В Казани Лев сдружился с уланом Дмитрием Алексеевичем Дьяковым, бывшим на пять лет старше его. Познакомились они на репетиции — оба молодых человека принимали участие в постановке любительского спектакля. Конечно же, впоследствии эта дружба нашла отражение в «Отрочестве» и «Юности», где описывалась под видом дружбы Николеньки Иртенева с Дмитрием Нехлюдовым. «Души наши, — писал Толстой, — так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу».

У Мити Дьякова была сестра Александра, прекрасная, словно богиня. Льву она нравилась, но, сознавая собственную непривлекательность, он скрывал свои чувства к ней.

Оба друга находили ошибочным видеть в женщине прежде всего внешнюю красоту (во всяком случае — именно так они заявляли на словах) и находили, что следует выбирать такую спутницу жизни, которая способна помочь духовному совершенствованию своего мужа.

Духовное родство с Митей Дьяковым буквально опьяняло Толстого. «Я любил ту минуту, — признавался он, — когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее».

Несмотря на возвышенные мысли, голос плоти все сильнее напоминал о себе. «Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только когда мне было 13 или 14 лет, — вспоминал Толстой в дневнике, — но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою».

Двадцатипятилетняя горничная Юшковых звалась Матреной, Матреной Васильевной. «Может быть, я страстен, но по моему мнению трудно встретить более обворожительное существо», — признавался впоследствии Толстой. Чувства, испытанные к Матрене, нашли свое выражение и в «Отрочестве», где она была выведена под именем горничной Маши. Чувства эти описаны детально: «Ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть женщину, от которой могли зависеть в некоторой степени мое спокойствие и счастье.

С тех пор, как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее... я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша... необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина, а мне было четырнадцать лет...

Я по целым часам проводил иногда на площадке без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая под-

нималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я пришел наверх и, так же, как Володя, захотел бы поцеловать Машу? Что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «Вот наказание! Что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакий... Отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится...» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости».

Все началось тогда, когда Николенька увидел, как один из лакеев пытается ухаживать за Матреной. Эта картина поразила мальчика настолько, что он никак не мог заснуть, чувствуя неясное беспокойство. Обычное дело для подростка, в котором начинает просыпаться чувственность. Затем главный герой узнал о том, что соблазнительной горничной оказывает внимание и его брат Володя (под именем Володи в трилогии был выписан Сергей Толстой). Устами Николеньки автор признавался: «Я всегда следил за его (Володи — Сергея. — А.Ш.) страстями и сам невольно увлекался ими». Разумеется, Николенька влюбился, и это страстное чувство на какое-то время завладело им полностью. С присущим возрасту максимализмом он наделил Матрену множественным вымышленным качеством, сотворив в своем воображении Идеал. «Она казалась мне богиней, недоступной для меня, ничтожного смертного», — признавался автор «Отрочества». Планы завоевания Матрены, вынашиваемые Львом, так и остались нереализованными:

Широкий нос и торчащие вихры — очень серьезная проблема, когда тебе всего четырнадцать лет.

Женщины волновали, будоражили, пугали, манили. Старшие братья решили «просветить» Льва, для чего привели его в публичный дом, где он расстался с невинностью. Первый опыт оказался шокирующим для впечатлительного подростка, все вышло настолько скверно и грязно, что, овладев пьяной, совершенно чужой ему женщиной, Лев расплакался от огорчения. Долгожданное, еще неведомое и оттого еще более прекрасное в своем предвкушении наслаждение оказалось грубым, нечистоплотным, весьма отталкивающим действием. Минутное блаженство сменилось чувством стыда, гадливости и какой-то внутренней опустошенности. Отныне на протяжении всей своей жизни Лев Толстой будет втайне стесняться своей довольно сильной чувственности и, будучи не в силах обуздать ее на деле, начнет со временем высказывать достаточно радикальные взгляды на взаимоотношения полов, называя плотскую любовь злом и призывая отказаться от нее вовсе.

Первый сексуальный опыт не нашел своего отражения в «Отрочестве» или «Юности», но совсем игнорировать в своем творчестве столь волнующую тему Лев Николаевич не мог. Он коснулся ее в рассказе «Записки маркера», героем которого плачет и упрекает своих приятелей, которые вынудили его переспать с проституткой: «Подошел он к бильярду, облокотился, да и говорит:

— Вам, — говорит, — смешно, а мне грустно. Зачем, — говорит, — я это сделал; и тебе, — говорит, — князь, и себе в жизнь свою этого не прощу.

Да как зальется, заплачет...»

Примерно так же ведет себя в подобной ситуации и Александр, герой рассказа «Святочная ночь», написанного практически одновременно с «Записками маркера» в 1853 году: «Он помнил еще... что женщина эта взяла его за руку и они прошли куда-то.

Через час у подъезда этого же дома... Alexandre... сел в свою карету и заплакал, как дитя. Он вспомнил чувство не-

винной любви, которое наподняло его грудь волнением и неясными желаниями, и понял, что время этой любви невозвратно прошло для него. Он плакал от стыда и раскаяния».

«Кто виноват? — задается вечным вопросом автор. — Неужели Alexandre, что он поддался влиянию людей, которых он любил, и чувству природы?»

Увы, «чудный... невинный, радостный, поэтический период детства», славное время, когда «невинная веселость и беспредельная потребность любви были главными побуждениями в жизни», пролетел быстро. Внезапно организм начал предъявлять свои требования, и делал это весьма настойчиво, вдруг была явлена новая, совершенно неизвестная сторона человеческих взаимоотношений, называемая «любовью» и в то же время не имеющая с настоящей, возвышенной любовью ничего общего.

Инстинкт возобладал над сознанием, подчинив себе чувства. Спасение можно было найти лишь в мечтах о том, что казалось юному Льву «высшим счастьем жизни». «В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства и одно из них — любовь к ней, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить... — писал Толстой в «Юности». — Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя... и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было надежда на необыкновенное, тщеславное счастье — такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожида-

нии чего-то волшебного счастливого. Я все ждал, что вот начнется, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже начинается там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделывать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня».

На протяжении всей своей жизни Лев Толстой неоднократно будет пытаться начать ее заново, «с чистого листа», то на Кавказе, то в своем имении.

«В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастье, которое мне тогда казалось высшим счастьем в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его». Это тоже из «Юности».

Полугодовые экзамены в университете студент Толстой благополучно провалил. Обвинение в недостаточном прилежании и полном незнании истории было воспринято им как оскорбление. Лев приписал его козням одного из университетских преподавателей, который незадолго до экзаменов поссорился с Юшковыми, но чуть позже пришел к выводу, что виной всему послужила его собственная лень. «Оправившись, я решил снова писать правила жизни и твердо был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам», — говорится в «Отрочестве».

1 января 1900 года Лев Толстой записал в своем дневнике: «Вспомнил свое отрочество, главное — юность и

молодость. Мне не было внушено никаких нравственных начал — никаких; а кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали), били людей и требовали от них труда. И многое дурное я делал, не желая делать — только из подражания большим».

Для Льва настает пора раздумий, пора познания законов, которые движут миром, и осознания своего места в этом мире. Он много читает, читает бессистемно, переходя от Руссо к Дюма и от Дюма к Вольтеру, и непременно переосмысливает прочитанное, примеряя его к себе, к своим мыслям, к своим чувствам. Юноша замыкается в себе, становится небрежен в одежде и даже неряшлив. Он считает себя выше всего суетного, мирского, но есть одна область, возвыситься над которой ему так и не удастся. Лев ведет неустанную борьбу с чувствами, которые вызывают в нем хорошенькие женщины, постоянно проигрывает ее и злится на себя все сильнее и сильнее.

Толстой решает продолжить образование, но теперь уже на юридическом факультете. В письме к тетушке Туанет он сообщает, что планирует совсем отказаться от выездов в свет, посвятив освободившееся время занятиям науками, языками, музыкой и рисованием.

Благие намерения улетучиваются очень скоро. Льву вообще свойственно быстро загораться какой-либо идеей и так же быстро остывать. Вечные сомнения приводят к постоянным разочарованиям. Первые же лекции на юридическом факультете кажутся скучными, особенно плохи, на его взгляд, лекции по истории, читаемые тем самым преподавателем, что пребывает в ссоре с Юшковыми. Лев систематически пропускает лекции без уважительной причины, за что, в полном соответствии с суровыми правилами того времени, попадает в карцер. Отныне он становится врагом истории, считая ее никому не нужной лженаукой. Правда, этого мнения Толстой не

будет придерживаться на протяжении всей жизни, изменив его к началу работы над «Войной и миром».

В апреле 1847 года студент второго курса юридического факультета Лев Толстой покидает университет по состоянию здоровья и домашним обстоятельствам. Реальная причина заключается в том, что, разочаровавшись в университетском образовании, Толстой намерен впредь учиться самостоятельно. Он составляет план, в котором изучение всего курса юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете, соседствует с изучением медицины, языков, сельского хозяйства, истории, географии, статистики, математики. Седьмым пунктом в планах значится написание диссертации. Восьмым — достижение средней степени совершенства в музыке и живописи.

Толстой возвращается в Ясную Поляну, предвкушая светлое будущее.

В этом светлом будущем женщинам нет места. «Я начинаю привыкать к первому правилу, которое я себе назначил. («Исполняй все то, что ты определил быть исполнену». — А.Ш.) И нынче назначаю себе другое, именно следующее: смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них. В самом деле: от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и других — как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас. В теперешний же развратный, порочный век — они хуже нас».

Сонечке Берс в это время шел третий годик. Ее волновали совершенно другие проблемы, нежели те, которые стояли перед Львом Толстым, но, вне всяческого сомнения, с ее точки зрения они тоже были очень важными и значимыми.

Глава четвертая

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

В своей «Исповеди» Лев Толстой писал о Татьяне Ергольской: «Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею женщиной: rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut. Еще другого счастья она желала мне — того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья, — того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы было как можно больше рабов».

Лев пригласил Татьяну Ергольскую, жившую у своей сестры, вернуться в Ясную Поляну и взять в свои руки ведение хозяйства. После дележа родительского наследства он стал единственным владельцем имения и прилегающих к нему деревень — 1470 десятин земли и 330 душ (семей) крепостных. Как младшему брату, ему досталась худшая часть наследства, но ее вполне хватало для безбедной и беззаботной жизни.

Поначалу Лев увлеченно занялся хозяйством, но надолго его не хватило. Тем более что все его начинания — от постройки по собственным чертежам механической молотилки до попыток духовного возрождения крестьян терпели неудачу. Вполне возможно, что за делами Толстой пытался забыть о женщинах.

Льву очень важно быть довольным собой. Это его главная цель, основное условие душевного комфорта. Но — пока страсти не обузданы, о довольстве не мо-

жет быть и речи. Ужасная планида — из-за неудачного первого опыта предпочесть естественную, живую, радостную любовь любви вымышленной, идеальной, неестественной и всю жизнь оставаться в этом заблуждении. Навязанное самому себе воздержание оказывалось бессильным перед потребностями молодого здорового организма, каждое «грехопадение» влекло за собой раскаяние, и этому не было конца. Круг замкнулся.

Спустя полтора года деревенская жизнь опостылела окончательно. Толстой прервал свое добровольное отшельничество и отправился в Москву, где им, как человеком самостоятельным, обладающим собственными средствами, овладела новая страсть — страсть к азартным играм. Карты манили Льва к себе не меньше женщин, но вот везение большей частью обходило его стороной. Лев постоянно проигрывался, частенько погрязая в долгах.

В конце января 1849 года Толстой переехал из Москвы в Санкт-Петербург, где вновь воспылил страстью к учебе и даже решил держать экзамен на звание кандидата в Петербургском университете. Он пишет Ергольской: «...петербургский образ жизни мне нравится. Здесь у каждого свое дело, каждый работает и занят своими делами, не беспокоясь о других. Хотя подобная жизнь суха и эгоистична, тем не менее она необходима нам, молодым людям, неопытным и не умеющим братья за дело. Жизнь эта приучит меня к порядку и деятельности, двум необходимым качествам, которых мне решительно недостает, словом, к положительной стороне жизни. Что касается моих планов, вот они: прежде всего хочу выдержать экзамен на кандидата в Петербургском университете; затем поступить на службу здесь или в ином месте, смотря как укажут обстоятельства... Не удивляйтесь всему этому, дорогая тетенька, во мне большая перемена...»

Экзамена он так и не выдержал, передумал. Теперь ему захотелось стать военным, не иначе как сказался пример старшего брата Николая, ставшего офицером и служившего на Кавказе. «Больше всего я надеюсь на юнкерскую службу, — пишет Лев брату Сергею. — Она меня приучит к практической жизни, и *volens volens** мне надо будет служить до офицерского чина. С счастьем, т. е. ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведен прежде двухлетнего срока».

Однако вместо поступления на воинскую службу Толстой возвращается в Ясную Поляну, где, не в силах сдерживать страсть, изрядно разгулявшуюся в обеих столицах, начинает интересоваться служанкой тетушки Гаши. Должно быть, будущего писателя привлекал контраст между профессионалками, услугами которых он пользовался в Москве и Петербурге, и наивной простодушной девушкой.

Ухаживания молодого графа возымели свое действие — Гаша сдалась. Едва утолив свою страсть, Лев почувствовал обычную гамму чувств, сопровождавшую у него каждую близость с женщиной, — отвращение, недовольство собой и раскаяние. Для Гаши мимолетная связь с баринком закончилась изгнанием — тетушка была возмущена ее «грехопадением» и прогнала несчастную от себя. Гаша перешла служить к сестре Льва — Марии.

Эта печальная история обрела вечную жизнь на страницах романа «Воскресение», в котором невинная девушка Катюша Маслова, соблазненная племянником своей благодетельницы и беременная от него, скатывается до проституции и воровства. Закручено куда замысловатее и трагичнее, чем в реальности, но ведь на то и роман, чтобы страсти в нем бушевали.

* Волей-неволей (*лат.*).

После Гаши была Дуняша, были крестьянки из деревень, а вдобавок граф наезжал в Тулу, губернскую столицу, чтобы развлечься цыганским пением, карточной игрой и прочими удовольствиями светской жизни.

Потом — снова Москва, снова беспутная жизнь, первые попытки написать что-то, кроме писем и дневника, новые планы, растущие карточные долги и, ставшие уже привычными, приступы раскаяния.

Встреча со старшим братом Николаем, приехавшим в отпуск, воскрешает мечты о военной службе. Впрочем, нет — вначале Лев решает отправиться вместе с братом на Кавказ. Это так романтично, так интересно, так оригинально! Поручив управление имением мужу сестры Марии, Лев вместе с Николаем 29 апреля 1851 года отбывает на Кавказ. Едут через Москву (надо же напоследок сполна вкушать радостей) и через Казань, где проводят больше недели.

В Казани Лев встретил Зинаиду Молоствову, в которую давно был тайно влюблен. Новая встреча разожгла слегка угасшую страсть.

Зинаида была дочерью казанского помещика Модеста Порфирьевича Молостова. Познакомился с ней при посредстве своей сестры, дружившей с Зинаидой. По свидетельству Марии Николаевны, Зинаида отличалась не только живостью характера и остроумием, но и богатым «внутренним содержанием». Зинаида не была красавицей, но пленяла окружающих своим грациозным обаянием, сочетавшимся с исключительным чувством юмора.

В июне 1851 года, спустя несколько недель после отъезда из Казани, уже на Кавказе, Толстой записал в своем дневнике: «Любовь и религия — вот два чувства — чистые, высокие. Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал. Я видал прежде Зинаиду

институточкой, она мне нравилась; но я мало знал ее (фу! какая грубая вещь слово! — как площадно, глупо выходят переданные чувства). Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время. Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов. Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу. Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида, прости меня, ежели это так, я виновен, одним словом мог бы и тебя уверить.

Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жалче, увижу ее в чепце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом. Я не оставляю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастье; но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное. Не написать ли ей письмо?.. Я сам не знаю, что нужно для моего счастья и что такое счастье. Помнишь Архирейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется

ся, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое... не свое, а наше счастье. Лучшие воспоминания в жизни останутся навсегда это милое время».

Толстой верен себе, вернее — своей непоследовательности. «На языке висело у меня признание», «Мое дело было начать», «я боялся испортить»... Верил ли он себе сам, когда писал: «Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней»? Ведь сразу же вслед за тем идет: «...я не доволен убежден, что она может составить мое счастье».

История любви Льва Толстого к Зинаиде Молоствовой закончилась записью в его дневнике от 22 июня 1852 года: «...Зинаида выходит за Тиле. Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня. Записался. Ложусь». Николай Тиле, муж Зинаиды, состоял чиновником особых поручений при казанском губернаторе, но впоследствии оставил службу и весьма успешно занялся коммерцией.

Спустя еще полгода Толстой напишет довольно трогательное стихотворение:

*Давно позабыл я о счастье –
Мечте позабытой души –
Но смолкли ничтожные страсти
И голос проснулся любви.....
На небе рассыпаны звезды;
Все тихо и темно, все спит.
Огни все потухли: уж поздно,
Одна моя свечка горит.
Сиж у окна я и в мысли
Картинны былого слежу,
Но счастья во всей моей жизни
Минуту одну нахожу:
Минуту любви, упованья,*

*Минуту без мысли дурной,
Минуту без тени желанья,
Минуту любви неземной...
И тщетно о том сожаленье
Проснется в душе иногда
И скажет: зачем то миновенье
Не мог ты продлить навсегда?*

Зинаиду можно угадать в Вареньке Б., героине рассказа «После бала», написанном Толстым в 1903 году, можно сказать — спустя целую вечность. В этом рассказе «всеми уважаемый Иван Васильевич» вспоминает о своей первой любви:

«— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б..., — Иван Васильевич назвал фамилию. — Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает.

— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это, или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, ни-

каких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый».

После выхода замуж Зинаида Молостова ни разу не встречалась с Толстым. Не видела в том смысла, или, быть может, боялась развеять тот поэтический возвышенный образ, который остался в памяти Толстого. Ее двоюродный племянник, журналист и критик Николай Германович Молостов, вспоминал: «Через много, много лет, уже будучи в очень преклонном возрасте, З. М. Молостова-Тиле, по прежнему обаятельная и прекрасная в своей способности жить и утешаться всяческими иллюзиями, вспоминала о своем увлечении Толстым в словах, проникнутых трогательной сентиментальностью и нежной какой-то грустью о промелькнувшем светлом видении юных дней».

30 мая 1851 года братья Толстые добрались до конечного пункта своего путешествия — казачьей станицы Старогладковской, расположенной на левом берегу Терека, в которой стоял полк Николая. Льву станица не понравилась — в день прибытия он написал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже». Днями позже, в письме к тетушке Туанет он признается, что местный край далеко не так красив, как ожидалось, что квартира плоха, так же, как и весь быт в целом, что все офицеры совершенно необразованные, но, в общем-то, славные люди.

Постепенно Толстой прижился в станице, изучая казачью жизнь, столь непохожую на жизнь тульских крестьян, изучая кумыкский язык, самый распространенный в то время язык на Кавказе, и, конечно же, любуясь красивыми казачками. Не только, впрочем, любуясь, но и добиваясь время от времени их расположения. В повести «Казачки» Толстой писал: «Красота гребенской (Старогладковская была

одной из станиц так называемого казачьего Гребенского войска. — А.Ш.) женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины».

Одна из станичных красоток наградила Толстого неприличной болезнью. Три долгие недели ушло на лечение и самобичевание. Раздраженный донельзя, Лев писал брату Николаю 10 декабря 1851 года: «Болезнь мне стоила очень дорого: аптека — рублей 20. Доктору за 20 визитов и теперь каждый день вата и извозчик, стоят 120. — Я все эти подробности пишу тебе с тем, чтобы ты мне поскорее прислал как можно больше денег... *La maladie vénérienne est détruite: mais se sont les suites du Mercure, qui me font souffrir l'impossible**. Можешь себе представить, что у меня весь рот и язык в ранках, которые не позволяют мне ни есть, ни спать. Без всякого преувеличения, я 2-ю неделю ничего не ел и не проспал одного часу». Не преминул страдалец пожаловаться и тетушке Туанет, стыдливо превратив в письме к ней венерическую болезнь в горячку.

Казачья жизнь нравилась Толстому настолько, что одно время он видел в ней идеал жизнеустройства. Его, склонного к рефлексиям, самоанализу, копанию в себе, поражала и умиляла близость казаков к природе. В повести «Казачки» Оленин размышляет о том, что эти люди «живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...

* Венерическая болезнь уничтожена, но последствия лечения ртутью доставляют мне невыносимые страдания (*фр.*).

Люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя».

Должно быть, Толстому, как и Оленину, «серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке... и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю, и с казаками в походы». Однако, испытав порыв, Оленин, подобно Толстому, спешит от него откреститься. «Вот ежели бы я мог сделаться казачком, Лукашкой, — продолжает он, — красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я и зачем я. Тогда бы другое дело; тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастливым».

Несомненно, жизнь Льва Толстого была бы гораздо лучше, сумей он еще в молодости отделаться от мысли о том, «кто я и зачем я». Возможно, одним великим писателем на свете стало бы меньше, но зато одним счастливым человеком больше.

«Мне многие советуют поступить здесь на службу, в особенности князь Барятинский, которого протекция всемогуща», — писал Толстой Татьяне Ергольской в августе 1851 года. Князь Барятинский был начальником левого фланга Кавказской армии. Мечты о военной карьере вновь завладели им. Толстой недаром упомянул о всемогущей протекции князя Барятинского, он серьезно рассчитывал на то, что князь будет способствовать его продвижению по службе. Пора было становиться героем, пора было доказать всем, и, в первую очередь, брату Николаю, что «пузырь» Лева способен не только спускаться за карточным столом внушительные суммы. Кстати, последнему занятию Лев Толстой довольно часто предавался на Кавказе.

В ожидании прихода документов, необходимых для зачисления на военную службу, Толстой начинает работать над повестью «Детство».

3 января 1852 года Толстой был принят на службу фейерверкером IV класса в одну из батарей 20-й артиллерийской бригады. Экзамен на звание юнкера он выдержал на «отлично», хватило знаний, полученных в университете и почерпнутых из книг. Толстой счастлив, он сообщает об этом тетушке Туанет, признаваясь, что он очень рад подобной перемене в своей жизни, и прежде всего рад не быть более свободным. Теперь он находит корень всех своих ошибок в том, что он пользовался чрезмерной свободой. Утверждение спорное, но в чем-то оно справедливо. «Я думаю, — пишет Толстой, — что мое столь легкомысленное решение отправиться на Кавказ было ниспослано мне свыше. Мною руководила рука Бога, и я не перестаю благодарить его за это. Я чувствую, что здесь я стал лучше... Я твердо уверен, что все случившееся со мной здесь пойдет мне только на благо, потому что такова воля Божья».

В том же письме Лев, по своему обыкновению, с началом военной службы, начиная мечтать об отставке, рисует тетушке картину светлого будущего, такой, каким она представляется ему. Рисует авторитарно, эгоистично, заранее распределив роли и не сомневаясь в том, что они будут безоговорочно приняты его близкими: «Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясном — дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей; Вы все еще живете в Ясном. Вы немного постарели, но все еще свежая и здоровая. Жизнь идет по-прежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; после обеда, вечером я читаю вслух то, что Вам не скучно слушать; потом начинается беседа. Я рассказываю Вам о своей жизни на Кавказе, Вы — Ваши воспоминания о прошлом, о моем

отце и матери; Вы рассказываете страшные истории, которые мы, бывало, слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами... Знакомых у нас не будет; никто не будет докучать нам своим приездом и привозить сплетни. Чудесный сон, но я позволю себе мечтать еще о другом. Я женат — моя жена кроткая, добрая, любящая, и она Вас любит так же, как и я. Наши дети Вас зовут «бабушкой»; Вы живете в большом доме, наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка; все в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни *papa*; и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли: Вы берете роль бабушки, но Вы еще добрее ее, я — роль *papa*, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена — мама, наши дети — наши роли: Машенька — в роли обеих тетенок, но не несчастна, как они; даже Гаши и та на месте Прасковьи Исаевны. Не хватает только той, кто мог бы Вас заменить в отношении всей нашей семьи. Не найдется такой прекрасной любящей души. Нет, у Вас приемницы не будет. Три новых лица будут являться время от времени на сцену — это братья и, главное, один из них — Николенька, который будет часто с нами. Старый холостяк, лысый, в отставке, по-прежнему добрый и благородный.

Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. Как дети будут целовать у него сальные руки (но которые стоят того), как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания об давно прошедшем времени, как Вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас, как Вы нас, старых, будете называть по-прежнему «Левочка, Николенька» и будете бранить меня за то, что я руками ем, а его за то, что у него руки не чис-

ты... Все это, может быть, сбудется, а какая чудесная вещь надежда».

Домашний деспот, который воображает, как жена его «будет хлопотать»... Распределение ролей производится в полном соответствии с тем раскладом, который Лев Николаевич наблюдал в детстве. Так было и так будет, иначе и быть не может.

Служба вскоре опостылела. Сказались обиды (не представили к вожделенному Георгиевскому кресту), беспокойный распорядок жизни (о какой размеренной жизни можно вообще говорить на войне?), нелады с начальством (подполковник Алексеев, командир Толстого, был, по его мнению, болтливым дураком) и нелады с другими офицерами (те не любили Толстого за его высокомерие). Умиление простотой нравов и близостью к природе давно позабыто. Толстой жалуется Татьяне Ергольской: «Слишком большая разница в воспитании, чувствах, взглядах моих и тех людей, которых я здесь встречаю, чтобы я испытывал малейшие удовольствия с ними». «Он гордый был, — вспоминал о Льве Толстом его сослуживец Щелкачев, — другие пьют, гуляют, а он сидит один, книжку читает. И потом я еще не раз его видал — все с книжкой...»

На Кавказе здоровье Толстого сильно расшатывается. Ревматизм, проблемы с пищеварением, нервное истощение. По совету врача он просит двухмесячный отпуск для поправки здоровья и получает его.

Толстой снимает домик в окрестностях Пятигорска и начинает лечиться, но без особого успеха. Ему докучает симпатичная хозяйка. «Она решительно со мною кокетничает: перевязывает цветы под окошком, караулит рой, поет песенки, и все эти любезности нарушают покой моего сердца, — писал Толстой. — Благодарю Бога за стыдливость, которую он дал мне, она спасет меня от разврата». Работа над «Детством» близит-

ся к концу – придирчивый автор завершает четвертую правку. 3 июля 1852 года он отправляет повесть известному поэту Николаю Некрасову, редактору литературного журнала «Современник». Имени своего не открывает, подписывая и письмо, и повесть инициалами Л.Н.

День 29 августа 1852 года стал знаменательным днем в жизни Толстого. В этот день он написал в дневнике: «Письмо от редактора, которое обрадовало меня до глупости».

«Милостивый государь! – говорилось в письме. – Я прочел Вашу рукопись (Детство), она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет поболее живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш и талант меня заинтересовали. Еще я советовал бы Вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо с своей фамилией. Если только вы не случайный гость в литературе. Жду вашего ответа».

На вопрос о гонораре (Толстой, погрязший в невыплаченных карточных долгах, отчаянно нуждался в деньгах), Некрасов ответил, что «в наших лучших журналах издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике». За последующие произведения Николай Алексеевич пообещал назначить достойную плату.

Осенью того же года первая повесть Льва Толстого появилась в «Современнике» и была с восторгом встречена читателями.

Глава пятая

ВОЙНА И ЛИТЕРАТУРА

К весне 1853 года военная служба, вместе с самой жизнью на Кавказе, окончательно опостытели Толстому, и он начал хлопотать об отставке. Армейские бюрократы тянули с решением, Толстой страдал и злился.

Злился не столько на себя, сколько на князя Барятинского, который к тому времени стал начальником штаба Отдельного Кавказского корпуса. Решение о поступлении на военную службу было принято Толстым не без влияния советов Барятинского. Честолобивый юнкер надеялся, что протекция князя будет способствовать его продвижению по службе, но его надежды не оправдались. То ли Барятинский забыл о Толстом, то ли изменил свое мнение о нем.

В июле 1853 года Толстой написал князю довольно резкое письмо, излив в нем свое раздражение. Лев обвинил Барятинского в том, что тот причинил ему зло своими советами, которым наивный молодой человек «имел ветренность» последовать. Затем Толстой подробно остановился на том, как его обошли наградами, отличиями и производством в офицерский чин, в чем также находил вину Барятинского. «Я два года был в походах, и оба раза весьма счастливо. Первый год неприятель подбил ядром колесо орудия, которым я командовал, на другой год, наоборот, неприятельское орудие подбито тем взводом, которым я командовал», — писал Толстой.

«Послал письма: Барятинскому — хорошее...» — написал он в дневнике.

Из-за назревающей войны с Турцией отставки были приостановлены императорским повелением, о чем Толстого известили в августе 1853 года. Решив извлечь из вынужденного продолжения службы как можно больше пользы, Толстой 6 октября подал командующему войсками, расположенными в Молдавии и Валахии, своему троюродному дяде князю Михаилу Дмитриевичу Горчакову, докладную записку с просьбой о переводе в действующую армию. Просьбу свою Толстой обосновал желанием продолжать службу вместе с родственниками — двумя его четвероюродными братьями Горчаковыми, племянниками командующего войсками. Брат Николай к тому времени уже вышел в отставку.

Ожидание перевода было еще тягостнее, чем ожидание отставки. 26 ноября Лев писал брату Сергею: «Во всяком случае к новому году я ожидаю перемены в своем образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, глупые офицеры, глупые разговоры — больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души». 1 декабря он записал в дневнике: «Ожидание перемены жизни беспокоит меня, а серая шинель до того противна, что мне больно (морально) надевать ее, чего не было прежде».

В декабре Лев жаловался тетушке Туанет: «Без друзей, без занятий, без интереса ко всему, что меня окружает, лучшие годы моей жизни проходят бесплодно, для себя и для других; мое положение, возможно, сносное для других, становится для меня с моей чувствительностью все более и более тягостным. Дорого я плачу за проступки своей юности...»

Отдушину Толстой находил в работе над тремя начатыми им произведениями: «Отрочеством», «Записками фейерверкера», «Романом русского помещика» и ведении дневника. Открытый успехом своей пер-

вой повести, он работал с упоением, видя в писательстве главное свое предназначение. Толстой пишет не для избранных, он пишет для всех, желая видеть своей аудиторией весь мир.

12 января 1854 года Толстой узнал о том, что переводится в Дунайскую армию. На следующий день он был произведен в офицеры, получив чин прапорщика. Началась подготовка к отъезду. Толстой спешил, так как намеревался по дороге побывать дома в Ясной Поляне. 19 января Толстой отправился в путь, проведя на Кавказе два года и семь с половиной. Настроение у него прекрасное. Уже после выезда из Старогладковской он записал в дневнике: «Встал рано и до самого отъезда писал или хлопотал. Отслужил молебен — из тщеславия. Алексеев очень мило простился со мной... Нынче, думая о том, что я полюбил людей, которых не уважал прежде, товарищей, я вспомнил, как мне странно казалась привязанность к ним Николеньки. И перемену своего взгляда я объяснял тем, что в кавказской службе и во многих других тесных кружках человек учится — не выбирать людей, а в дурных даже людях видеть хорошее».

В Бухарест Толстой прибыл 12 марта и тут же ощутил разницу между старым и новым местами службы. Если Старогладковская была настоящей глухоманью, то Бухарест — европейской столицей, со всеми полагающимися атрибутами светской жизни. Обеды, вечера, балы, итальянская опера, французский театр... Кузены тепло приняли Толстого, не менее радушной была встреча у командующего. «Он обнял меня, пригласил меня каждый день приходить обедать к нему и хочет оставить меня при себе, хотя это еще не решено», — писал Толстой.

Лев был рад переменам, в Бухаресте ему нравилось все, включая и сослуживцев, которые, в отличие от

прежних, были людьми светскими, блестящими, утонченными. Деньги у Толстого водились — по его поручению был продан «на вывоз» огромный яснополянский дом (для проживания в имении остались два больших флигеля), продан за внушительную по тем временам сумму в пять тысяч рублей, поэтому нет ничего удивительного в том, что его снова потянуло к картам. Прогрывал он регулярно.

В качестве ординарца дивизионного генерала Сержпутовского Толстой был не слишком занят служебными делами. Избыток свободного времени позволил ему закончить корректуру «Отрочества» и отправить рукопись Некрасову. «Я еще и не понюхал турецкого пороха, а преспокойно живу в Бухаресте, прогуливаюсь, занимаюсь музыкой и ем мороженое», — писал Лев Татьяне Ергольской.

7 июля Лев Толстой описал в дневнике себя самого. Портрет вышел не слишком привлекательным: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, безо всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда, прираввшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способнос-

тей; но — с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность.

Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я неводержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра, — славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них...»

Ввиду отступления русских войск штаб переехал в Кишинев. Здесь Толстой решил издавать журнал «Солдатский вестник», или «Военный листок», призванный поддерживать на должном уровне моральный дух воинов, но не получил разрешения императора Николая I. Лев огорчился и нашел, что служба при штабе ему наскучила. Очень кстати недалеко от Севастополя высадились французы и англичане. Толстой подал рапорт с просьбой о переводе. «Из Кишинева 1 ноября я просился в Крым, отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, силь-

но нашел на меня. В Крыму я никуда не просился, а предоставил распоряжаться судьбой начальству», — сообщал Лев брату Сергею.

7 ноября Толстой оказался в Севастополе. Увиденное поразило его и вызвало восхищение русскими солдатами. «Дух в войсках свыше всякого описания, — писал Лев брату Сергею. — Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов (вице-адмирал Владимир Корнилов — один из руководителей обороны Севастополя. — *А.Ш.*), объезжая войска, вместо: “Здорово, ребята!”, говорил: “Нужно умирать ребята, умрете?” — и войска кричали: “Умрем, ваше превосходительство. Ура!” И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили это обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24 французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде 24 было 160 человек, которые, раненные, не вышли из фронта. Чудное время!.. Мне не удалось ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время».

В Севастополе Толстой начал писать рассказы об обороне города для некрасовского «Современника». Писал он правдиво, красочно, что называется «с душой», поэтому неудивительно, что рассказы эти получили высокую оценку во всех слоях русского общества, включая и самые высшие. Поговаривали, что недавно восшедший на престол император Александр II был настолько впечатлен, читая «Севастополь в декабре ме-

сяце», что тут же приказал беречь его автора и не подвергать его опасности, ввиду чего Толстого перевели в более спокойное место, подальше от сражений. Не исключено, впрочем, что командующий князь Горчаков решил поберечь и облагодетельствовать родственника, обещавшего стать знаменитым писателем.

Севастополь пал, Крымская война фактически закончилась, Толстой возобновил ходатайство об отставке, и, в ожидании разрешения, был отправлен курьером в Санкт-Петербург. На радостях, в канун отъезда он проиграл в карты почти три с половиной тысячи рублей, но это прискорбное событие не могло омрачить его радости.

19 ноября 1855 года Лев Толстой приехал в Санкт-Петербург. Остановившись в гостинице, он привел себя в порядок и сразу же отправился к Ивану Тургеневу, с которым состоял в переписке. Следующим было знакомство с Некрасовым. Тургенев настолько проникся расположением к Толстому, что уговорил Льва переехать из гостиницы к нему на квартиру (Тургенев жил тогда на Фонтанке, у Аничкова моста, в нижнем этаже дома Степанова). Толстой согласился, ему льстило подобное внимание.

Очень скоро Лев Толстой перезнакомился со всеми петербургскими литераторами того времени. Он произвел на всех хорошее впечатление, и отношения с новыми знакомыми установились самые дружелюбные.

«Приехал А. Н. Т., то есть Толстой, — писал Некрасов литератору Василию Боткину. — Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, являсь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергичный, благородный юноша — сокол!.. а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и

они хороши... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился. Читал он мне первую часть своего нового романа — в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии. Обещал засесть и написать для первого номера "Современника" "Севастополь в августе". Он рассказывает чудесные вещи».

Новые знакомые не могли отвратить Толстого от старых привычек. Едва оказавшись в столице, он с наслаждением предался разгулу. Кутежи, карты, неизменные проигрыши, цыганский хор, публичные женщины... Душа, истосковавшаяся по привычным радостям, никак не могла насытиться.

Образ жизни Толстого вызывал осуждение у Тургенева. Если с тем же Некрасовым у Льва Николаевича установились ровные отношения, то споры с Тургеневым вскоре переросли в ссоры, некоторые из которых чуть было не заканчивались дуэлями.

Еще до знакомства с Толстым Тургенев некоторое время был увлечен его сестрой Марией, своей соседкой по имению, отчего изначально относился ко Льву очень тепло. Но вскоре поведение Толстого, его бесцеремонные замечания, нападки на то, что было дорого Тургеневу, привели к охлаждению отношений между ними. Толстому доставляло удовольствие выводить Тургенева из себя, сохраняя при этом полное спокойствие.

Они не могли разойтись навсегда — какая-то неведомая сила манила их друг к другу. Ссоры сменялись возобновлением отношений, совместными обедами, дружескими беседами, далее шли новые ссоры — и так без конца. Изменение отношений Лев Николаевич методично фиксировал в дневнике:

«Поссорился с Тургеневым».

«Обедал у Тургенева, мы снова сходимся».

«С Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся».

«Был у Тургенева с удовольствием. Завтра надо занять его обедом».

«Был обед Тургенева, в котором я, глупо оскорбленный стихом Некрасова, всем наговорил неприятного. Тургенев уехал. Мне грустно...»

«Очень хорошо болтал с Тургеневым, играли "Дон-Жуана"».

«Приехал Тургенев. Он решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне жалко его. Я никогда с ним не сойду».

Тургенев и Некрасов в письмах к В. П. Боткину.

Из письма Некрасова к Боткину: «Вернулся Толстой и порадовал меня: уж он написал рассказ [«Метель». — *А.Ш.*] и отдает его мне на третью книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал. Но какую, брат, чушь нес он у меня вчера за обедом! Чорт знает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадет отличный талант!»

Из письма Тургенева к Боткину: «С Толстым я едва ли не рассорился — нет, брат, невозможно, чтоб не образованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня за обедом у Некрасова он по поводу Ж. Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя. Спор зашел очень далеко — словом — он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете. — Когда-нибудь расскажу тебе, а писать неловко».

Услышав похвалу новому роману Жорж Санд, Толстой заявил, что просто ненавидит ее творчество, и добавил, что героинь ее романов, если бы таковые существовали на самом деле, следовало бы назидания ради привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам.

Писатель Дмитрий Григорович вспоминал о Толстом: «Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить свою неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей».

27 декабря 1855 года прапорщик Лев Толстой был переведен из действующей армии в Петербургское ракетное заведение. Да, существовало такое заведение, изготавливавшее ракеты для морского ведомства и Кавказского края. Новая служба оказалась для Толстого просто фикцией, своеобразным переходным этапом между военной и гражданской жизнью.

26 марта 1856 года Толстого повысили в чине до поручика. Он воспринял это известие совершенно равнодушно.

26 ноября того же года Толстой вышел в отставку. Военная выправка, приобретенная за годы службы, сохранилась у него на всю оставшуюся жизнь.

Глава шестая

ВАЛЕРИЯ, ИЛИ ХРАПОВИЦКИЙ ПРОТИВ ДЕМБИЦКОЙ

В середине июня 1856 года в гости к Толстому приехал его старый друг Митенька Дьяков. Толстой был очень рад встрече. Между делом зашел промеж ними разговор о женитьбе, и Дьяков посоветовал Льву Николаевичу жениться на его соседке Валерии Арсеньевой. «Шлялись с Дьяковым, много советовал мне дельного, о устройстве флигеля, а главное, советовал жениться на Валерии. Слушая его, мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать. Неужели деньги останавливают меня? Нет, случай», — записал Толстой в дневнике.

Судаково, имение Арсеньевых, находилось всего в восьми верстах от Ясной Поляны. Валерия была самой старшей из трех сестер, оставшихся сиротами после смерти отца. В 1856 году ей исполнилось двадцать лет, и, по меркам того времени, она чувствовала себя засидевшейся в девушках. Семья Арсеньевых состояла из тетки-опекуни, светской барыни с замашками придворной дамы, трех сестер — Валерии, Ольги и Женечки, и их компаньонки-итальянки мадемуазель Вергани.

Льву совет друга запал в душу. Он зачастил к Арсеньевым и начал присматриваться к потенциальной невесте. По старой привычке все свои наблюдения, суждения и выводы Толстой фиксировал в дневнике. Записи были самыми разными, порой совершенно противоречивыми:

«Беда, что она без костей и без огня, точно лапша. А добрая. И улыбка есть, болезненно покорная».

«Валерия мила».

«Она играла. Очень мила».

«Валерия болгала про наряды и коронацию. Фри-вольность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоянная страсть».

«Я с ней мало говорил, тем более она на меня подействовала».

«Валерия была ужасно плоха, и совсем я успокоился».

«Валерия в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе».

«Валерия ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа».

«Валерия славная девочка, но решительно мне не нравится».

«Валерия очень мила, и наши отношения легки и приятны. Что ежели бы они могли остаться всегда такие».

«Валерия была лучше, чем когда-нибудь, но фривольность и отсутствие внимания ко всему серьезному ужасающи. Я боюсь, это такой характер, который даже детей не может любить».

«Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо».

«Валерия ...не понравилась очень и говорила глупо».

«Валерия, кажется, просто глупа».

«Валерия была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа».

«Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет».

«Валерия возбуждала во мне все одно [чувство. — А.Ш.] любознательности и признательности».

«Мы с Валерией говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра».

Толстой остается все таким же — непостоянным, нерешительным, сомневающимся, мгновенно увлекающимся и столь же быстро охлаждающимся. Осознавал ли он сам, чего ему хочется больше — жениться на Валерии или поскорее забыть о ней? Толстому, конечно же, хотелось иметь семью, ведь семейная жизнь в какой-то степени соответствовала его жизненному идеалу, да и в светском обществе закоренелые холостяки вызывали насмешки, но не хотелось ограничивать свою свободу, которой он всегда так дорожил.

События развивались постепенно. 12 августа Валерия Арсеньева отправилась в Москву, желая присутствовать на коронации Александра II. Толстой проводил ее, найдя, что «она была необыкновенно проста и мила».

Разлука усилила приязнь. «Все эти дни больше и больше подумываю о Валериньке», — записывает Лев Николаевич в дневнике на четвертый день после отъезда Валерии. Обратите внимание — не «думаю», а «подумываю». Слово «подумывать» имеет в русском языке два значения — время от времени думать о чем-то и намереваться сделать что-либо. Можно предположить, что Толстой подумывал о женитьбе на Валерии.

17 августа он написал Валерии письмо с просьбой описать ему ее времяпровождение в Москве, письмо легкое, веселое, немного покровительственное. Толстой вообще относился к Валерии с позиции старшего товарища, можно даже сказать — наставника. Валерия не возражала, находя это естественным, ведь Толстой был старше и опытнее ее. К тому же он писал книги, и книги весьма неплохие.

С первых дней своего ухаживания Толстой всячески пытался привить девушке свои взгляды на роль женщи-

ны в семье и обществе, согласно которым каждая дочь Евы должна видеть свое предназначение в материнстве и служении своей семье. Можно представить себе, насколько его рассердило ответное письмо Валерии, в котором она с восторгом описывала московскую жизнь — ежедневные визиты, обеды, спектакли, музыкальные утренники, танцевальные вечера и даже военный парад, во время которого была такая давка, что девушке помяли платье.

Вдобавок Валерия совершила еще одну ошибку — написала не Льву Николаевичу, а тетушке Ергольской. То ли из скромности, то ли желая по сильнее разжечь пламя страсти в душе вероятного жениха.

Увы — вместо страсти разгорелась обида. Письмо, по признанию самого Толстого, «подрало его против шерсти». Лев Николаевич не любил, когда окружающие вели себя вразрез с его представлениями. В ответ он написал Валерии письмо, более похожее на отповедь.

«Судаковские барышни! — писал он. — Сейчас получили милое письмо ваше, и я, в первом письме объяснив, почему я позволяю писать вам, — пишу, но теперь под совершенно противоположным впечатлением тому, с которым я писал первое. Тогда я всеми силами старался удерживаться от сладости, которая так и лезла из меня, а теперь от тихой ненависти, которую в весьма сильной степени пробудило во мне чтение письма вашего тетеньке, и не тихой ненависти, а грусти разочарования... Неужели какая-то смородина (имелся в виду помятый в давке туалет. — *А.Ш.*), *haute volée** и флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия? Ведь это жестоко. Для чего вы писали это? Меня, вы знали, как это подерет против шерсти».

* высшее общество (*фр.*).

Толстой предостерегает Валерию от обольщения высшим светом, в котором сам пока что продолжает с удовольствием возвращаться (годы графского «крестьянства» далеко впереди). «Любить *haute volée*, а не человека, нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречается дряни, чем из всякой другой *volée*», — пишет он. Валерия упоминала о ком-то из флигель-адъютантов (младшее свитское звание в Российской империи. — *А.Ш.*), Толстой отвечает: «Насчет флигель-адъютантов — их человек сорок, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки».

Оканчивалось письмо саркастически: «Пожелав вам всевозможных тщеславных радостей с обыкновенным их горьким окончанием, останусь ваш покорнейший, но неприятнейший слуга».

Молодая девушка из провинции немного повеселилась в Москве, поделилась своей радостью с теми, кого считала своими близкими, и получила в ответ хорошую взбучку. Ужели сам Лев Николаевич позабыл свои кутежи, визиты к цыганам, ночи, проводимые за картами или в публичных домах? Навряд ли. Скорее всего Толстой руководствовался древним принципом, гласящим: «*Quod licet Jovi, non licet bovi*» — «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку».

Дюжину дней в дневнике Толстого не появлялось ни слова о Валерии, но затем, 4 сентября он написал: «О В. думаю очень приятно». Двумя днями позже, собравшись на охоту, Лев Николаевич заехал к Арсеньевым в Судаково, где «с величайшим удовольствием вспоминал о В.», еще не вернувшейся из Москвы. Прямо из Судакова, поддавшись порыву, он пишет Валерии письмо, полное раскаяния. «Меня мучает и то, что я написал вам без позволения, и то, что написал глупо, грубо, скверно», — признавался Толстой. Далее он интересовался — не сердится ли на него Вале-

рия, и искренне желал ей побольше веселиться. Письмо было проникнуто духом раскаяния и не могло не тронуть сердце девушки. Опять же, отсутствие ответа могло означать полный разрыв отношений, чего Валерии совершенно не хотелось.

Она ответила сразу же. Написала, что не сердится несколько на своего «любезного соседа» за его «мораль», которую ей всегда приятно слышать, потому что все советы Толстого «всегда очень полезны». Попеняв соседу на «незаслуженные замечания насчет тщеславия, гордости и пр.», Валерия писала, что она «совсем завеселилась, всякий день где-нибудь на бале, или в опере, или в театре, или у Мортье (француз, у которого она брала уроки музыки. — А.Ш.)». Отношения были восстановлены.

24 сентября, после полуторамесячного пребывания в первопрестольной, Арсеньева вернулась домой. На следующий же день Толстой навестил ее и... был разочарован. «Валерия мила, но, увы, просто глупа, и это был жмуций башмачок», — записал он в дневнике в тот же день. «Была В., мила, но ограничена и фютильна (пуста. — А.Ш.) невозможно», — добавил на следующий.

С вечной своей непоследовательностью, через два дня Лев Николаевич снова едет к Арсеньевым и даже остается у них на ночь, отметив в дневнике, что в этот вечер Валерия ему нравится. «Жмуций башмачок» позабыт, но уже на следующий день Толстой написал в дневнике: «Проснулся в 9 злой. Валерия не способна ни к практической, ни к умственной жизни. Я сказал ей только неприятную часть того, что хотел сказать, и поэтому оно не подействовало на нее. Я злился. Навели разговор на Мортье, и оказалось, что она влюблена в него. Странно, это оскорбило меня, мне стыдно стало за себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-

то вроде чувства. Читал “Вертера”. Восхитительно. Тенька не прислала за мной, и я ночевал еще».

Через день, уже в Ясной Поляне, Толстой пишет в дневнике: «Проснулся все не в духе. Часу в 1-м опять заболел бок без всякой видимой причины. Ничего не делал, но, слава Богу, меньше думал о Валерии. Я не влюблен, но эта связь будет навсегда играть большую роль в моей жизни. А что, ежели я не знал еще любви, тогда, судя по тому маленькому началу, которое я чувствую теперь, я испытаю с ужасной силой, не дай бог, чтоб это было к Валерии. Она страшно пуста, без правил и холодна, как лед, оттого беспрестанно увлекается...»

Спустя неделю: «Поехал к Арсеньевым. Не могу не колоть Валерию. Это уж привычка, но не чувство. Она только для меня неприятное воспоминание...»

Очень скоро неприятное воспоминание становится приятным, и Толстой решает объясниться с Валерией, причем делает это довольно оригинально, при помощи аллегорического рассказа, в котором он фигурирует под фамилией Храповицкого, а она — под фамилией Дембицкой. Историю Храповицкого и Дембицкой Толстой рассказывает не самой Валерии, а мадемуазель Вергани, которая уже передает ее по назначению. Немного странный способ восстановления отношений подействовал. На следующее утро «Валерия пришла смущенная, но довольная», а самому Толстому «было радостно и совестно».

На радостях отправились в Тулу на бал, где, по впечатлению Толстого, «Валерия была прелестна». «Я почти влюблен в нее», — записывает он. Дневниковая запись следующего дня заканчивалась словами: «Я ее люблю». Лев Николаевич показал Валерии эту запись, девушка прониклась и вырвала страничку себе на память.

Через три дня, 28 октября, в дневнике Толстого появилась следующая запись: «...поехал к Валерии. Она была для меня в какой-то ужасной прическе и порфире. Мне было больно, стыдно, и день провел грустно, беседа не шла. Однако я совершенно невольно сделался что-то вроде жениха. Это меня злит».

Удивительно — после некоторого периода ухаживания за девушкой, завершившегося признанием в любви, Лев Николаевич «совершенно невольно сделался» чем-то «вроде жениха»! Кем он еще мог оказаться? Опекуном? Наставником?

Дальше все продолжается в подобном же стиле, то Валерия мила, то — ограничена. Самого же Толстого злит «невольность» его положения. 31 октября в дневнике Толстого появилась примечательная, буквально сотканная из противоречий запись, сделанная в Туле: «Ночевал у них (у Арсеньевых. — А.Ш.). Она не хороша. Невольность моя злит меня больше и больше. Поехал на бал, и опять была очень мила. Болезненный голос и желание компрометироваться и чем-нибудь пожертвовать для меня. С ними поехали в номера, они меня проводили, я был почти влюблен».

Воистину, не семь пятниц было на неделе у Льва Николаевича, а все двенадцать! Бедная Валерия!

На следующий день, 1 ноября, Толстой уехал в Москву и всю дорогу, по собственному признанию, «думал только о Валерии». 2 ноября он написал Валерии письмо, «длинное письмо», как сказано в дневнике.

Письмо это было написано так, словно их бракосочетание было уже решенным делом. Предвкушая «счастлирое время», Толстой предостерегал Валерию от чрезмерной радости, говоря, что им обоим предстоит «огромный труд — понять друг друга и удерживать друг к другу любовь и уважение». Труд этот крайне необходим «для их общего счастья». В слу-

чае отсутствия подобного взаимопонимания и взаимоважания очень скоро в их отношениях образуется «громадный овраг», который уже ничем невозможно будет заполнить.

Не удержался Толстой и от вечных своих поучений. Поучать он умеет и любит. «Пожалуйста, ходите гулять каждый день, какая бы ни была погода. Это отлично Вам скажет каждый доктор, и корсет носите и чулки надевайте сами и вообще в таком роде делайте над собой разные улучшения. Не отчаивайтесь сделаться совершенством. Главное, живите так, чтоб, ложась спать, можно сказать себе: нынче я сделала 1) доброе дело для кого-нибудь и 2) сама стала хоть немножко лучше», — назидательно пишет он. По мнению Толстого, сделаться лучше можно, научившись хорошо исполнять трудный музыкальный пассаж, прочувствовав хорошее произведение искусства или поэзии, но самое главное — это сделать кому-нибудь добро и тем самым добиться любви и благодарности. «Это — наслаждение и для себя одной, — продолжает он, — а теперь вы знаете, что есть человек, который все больше и больше, до бесконечности будет любить вас за все хорошее, что вам не трудно приобрести», человек, который в силах «любить вас самой сильной, нежной и вечной любовью».

Письмо занудливо, но тем не менее проникнуто теплотой.

Толстой сообщает Валерии, что мысль об отъезде в Москву, кажется, внушена ему свыше, внушена для того, чтобы он мог проверить свое чувство разлукой. «Я один не мог бы этого сделать. Я верю, что он руководил мной для нашего общего счастья».

«Для нашего общего счастья». Как радостно, должно быть, отозвались эти слова в сердце Валерии. Наверяд ли она отдавала себе отчет в том, что Толстой

понимал счастье совершенно не так, как она, и что никакого общего счастья у них быть не могло.

Заканчивалось письмо так: «Христос с вами, да может он нам понимать и любить друг друга хорошо».

Что ж — в пору было заказывать портнихе подвенечное платье. Не исключено, что Валерия так и поступила, ну, хотя бы призадумалась о фасоне.

Увы — очень скоро на безоблачное небо набежали грозные тучи. Толстой узнал от своего троюродного брата князя Волконского о том, что у Валерии в бытность ее в Москве, оказывается, был роман с ее учителем музыки, причем происходило это при прямом попустительстве тетки Валерии, у которой девушка гостила.

Толстой разволновался, даже ужаснулся легкомыслию и ветрености Валерии, и в первом же письме к ней, письме, надо заметить, весьма любезном, теплом, заинтересовался — не относится ли она к числу тех людей, которые «всю жизнь не знают ни наслаждений, ни страданий — моральных, разумеется».

«Часто, — пишет дальше Толстой, — мне кажется, что вы — такая натура, и мне ужасно это больно». И, словно испугавшись, что Валерия может обидеться, добавляет: «Но во всяком случае вы милая, точно милая, ужасно милая натура... Как только со мной случается маленькая или большая неприятность — неудача, щелчок самолюбию и т. п., я в ту же секунду вспоминаю о вас и думаю: “Все это вздор — там есть одна барышня, и мне все ничего”».

Далее следует порция очередных поучений, к которым Валерия, должно быть, уже привыкла, а в заключение — просьба писать и писать поскорее.

В ночь с 12 на 13 ноября Лев Николаевич (он уже пять дней тому как приехал в Петербург, чтобы завершить дела с отставкой), не дождавшись ответа

на предыдущее свое письмо, написал Валерии большое письмо, в котором излагал свои мысли об их будущем совместном образе жизни. В письме снова фигурировали Храповицкий и Дембицкая, так Толстому было проще выстраивать модель взаимоотношений.

Храповицкий — человек «морально старый», «в молодости делавший много глупостей», но со временем «нашедший себе дорогу и призвание — литературу». Храповицкий «в душе презирает свет», потому что в светском праздном водовороте «пропадают все хорошие, честные, чистые мысли». В противовес свету он «обожает тихую семейную нравственную жизнь».

О Дембицкой говорится совершенно иное. «Для нее счастье: бал, голые плечи, карета, брильянты, знакомства с камергерами, генерал-адъютантами и т. д.».

Что же должны делать люди «с противоположными наклонностями», которые любят друг друга, чтобы устроить совместную жизнь к обоюдному счастью?

Следует «делать уступки», и «тот должен делать больше уступок, чьи наклонности менее нравственны».

Храповицкий склонен всю оставшуюся жизнь провести в своем имении, будучи занят любовью к Дембицкой, неотрывной от заботы о ее счастье, литературой и ведением хозяйства. Дембицкая же мечтает жить в Петербурге, «ездить на тридцать балов в зиму, принимать у себя хороших приятелей и кататься по Невскому в своей карете».

Толстой предлагает компромисс, нечто среднее между идеалами Храповицкого и Дембицкой — семь месяцев жизни в деревне и пять месяцев в Петербурге, но в столице следует жить «без балов, без кареты, без необыкновенных туалетов... и совершенно без света», занимая квартиру в четыре комнаты на пятом этаже. На

большее скромных средств Храповицкого (две тысячи в год с имения и около тысячи за литературные труды) не хватит.

В заключение Толстой сообщал Валерии, что пишет ей в последний раз, и окончил письмо мольбой: «Во всяком случае, ради истинного бога, памятью вашего отца и всего, что для вас есть священного, умоляю вас, будьте искренны со мной, совершенно искренны, не позволяйте себе увлекаться. Прощайте, дай вам бог всего хорошего».

Четыре дня проходит в молчании со стороны Толстого.

19 ноября он пишет в дневнике: «С утра ленился приняться. Немного написал “Роман русского помещика”. Получил письмо от Валерии недурное, но странно — под влиянием работы я к ней хладнокровен. Гимнастика, дома обедал, от пива спать захотелось, написал Валерии среднее письмо и от 9 до 2 работал. Больше половины сделано».

В «среднем» письме говорилось: «Вы знаете мой характер сомнения во всем»; характер этот есть следствие «известной степени развития». Лишь «в том, что добро — добро», не сомневается он.

20 ноября приходит письмо от «Валерии. Ничего нового в письмах, неразвитая любящая натура. Отвечал ей», — записывает в дневнике Толстой.

22 ноября: «Написал Валерии письмо. Очень думал об ней. Может, оттого, что не видал в это время женщин».

23 ноября: «Получил милое письмо от Валерии, отвечал ей».

«Я так счастлив мыслью, что есть вы, которая меня любит, что не знаю, что бы со мной было, ежели бы вы вдруг мне сказали, что вы меня не любите», — писал Толстой.

Ответом было «глупо-кроткое письмо», за которым последовало «письмо глупое». «Она сама себя надувает, — заключает Толстой, — и я это вижу — насквозь, вот что скучно. Ежели бы узнать так друг друга, что не прямо воспринимать чужую мысль, а так, что видеть ее филиацию в другом».

Переписка продолжалась с разными настроениями со стороны Толстого при неизменно доброжелательном отношении Валерии. Наверное, она действительно любила его... В одном из писем Валерия попросила Толстого сфотографироваться и выслать ей свой портрет. Благодаря этой просьбе до нас дошла фотографическая карточка Льва Толстого, на которой он изображен в артиллерийском мундире (он еще не вышел в отставку).

5 декабря Толстой пишет тетушке Туанет: «Только что я уехал, — писал он, — и неделю после этого мне кажется, что я был влюблен что называется, но с моим воображением это не трудно. Теперь же и после этого, — особенно, как я пристально занялся работой, — я бы желал и очень желал мочь сказать, что я влюблен или просто люблю ее, но этого нет. Одно чувство, которое я имею к ней — это благодарность за ее любовь». Но Лев Николаевич не отказывается от мысли о женитьбе на Валерии. Он находит (на словах или на самом деле?), что она могла бы стать самой подходящей для него женой. «Вот в этом-то, — пишет Толстой, — я и желал бы знать ваше откровенное мнение — ошибаюсь я или нет... ежели бы я убедился, что она натура постоянная и будет любить меня всегда, — хоть не так, как теперь, а больше, чем всех, то я ни минуты не задумался бы жениться на ней». Толстой считает, что отсутствие любви — не помеха для женитьбы. Он уверен, что после свадьбы его любовь к жене росла бы все больше и больше и «посредством этого чувства из нее бы можно было сделать хорошую женщину».

Заметьте себе — «посредством этого чувства» и ничем более!

Рано или поздно чаша терпения Валерии должна была переполниться. Она написала своему «жениху», что он «только умеет читать нотации», что все его письма всего лишь «нотации и скука» и что больше переписываться с ним она не желает, так же как и встречаться.

Толстой записал в дневнике, что он рад такому письму. Сомнения были разрешены, Рубикон перейден, и если даже Валерия, когда писала это письмо, была не вполне искренна, желая разжечь его страсть своей холодностью, он окончательно понял, что о совместной жизни с ней для него не может быть и речи.

«Мне очень грустно», — писал он в дневнике, но в глубине души, должно быть, несказанно радовался вернувшейся к нему свободе.

Еще через день, 12 декабря, Толстой написал, как указано в дневнике, «последнее письмо» Валерии. «Верьте еще одному, что во всех моих с вами отношениях я был искренен, сколько мог, — заверял он свою несостоявшуюся супругу, — что я имел и имею к вам дружбу, что я искренно думал, что вы лучшая из всех девушек, которых я встречал, и которая, ежели захочет, я могу быть с ней счастлив и дать ей счастье, как я понимаю его. Но вот в чем я виноват и в чем прошу у вас прощенья: это, что, не убедившись в том, захотите ли вы понять меня, я как-то невольно зашел с вами в объяснения, которые не нужны, и, может быть, часто сделал вам больно. В этом я очень и очень виноват; но постарайтесь простить меня и останьтесь добрыми друзьями. Любовь и женитьба доставили бы нам только страдания, а дружба, я это чувствую, полезна для нас обоих. И я не знаю, как вы, но я чувствую в себе силы удержаться в границах ее».

«Кроме того, мне кажется, что я не рожден для семейной жизни, хоть люблю ее больше всего на свете, — добавил Толстой и перешел к самобичеванию. — Вы знаете мой гадкий, подозрительный, переменчивый характер, и бог знает, в состоянии ли что-нибудь изменить его. Нечто сильная любовь, которой я никогда не испытывал и в которую я не верю. Из всех женщин, которых я знал, я больше всех любил и люблю вас, но всё это еще очень мало».

«Последнее» письмо оказалось далеко не последним. 14 января 1857 года Толстой писал Валерии из Москвы: «Я не переменялся в отношении вас и чувствую, что никогда не перестану любить вас так, как я любил, т. е. дружбой, никогда не перестану больше всего на свете дорожить вашей дружбой, потому что никогда ни к какой женщине у меня сердце не лежало и не лежит так, как к вам. Но что же делать, я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне. Я всегда это смутно чувствовал, но теперь наша 2-х месячная разлука, жизнь с новыми интересами, деятельностью, обязанностями даже, с которыми несовместна семейная жизнь, доказали мне это вполне».

Далее он признает, что действовал в отношении Валерии дурно, сообщает ей, что на днях уезжает в Париж и добавляет: «...ежели вы мне напишете несколько строк, я буду счастлив и спокоен».

В конце февраля 1857 года Лев Толстой писал Валерии Арсеньевой из Парижа: «Письмо ваше, которое я получил нынче, любезная Валерия Владимировна, ужасно обрадовало меня. Оно мне доказало, что вы не видите во мне какого-то злодея и изверга, а просто человека, с которым вы чуть было не сошлись в более близкие отношения, но к которому вы продолжаете иметь дружбу и уважение. Что мне отвечать на воп-

рос, который вы мне делаете: почему? Даю вам честное слово (да и к чему честное слово, я никогда не лгал, говоря с вами), что перемене, которую вы находите во мне, не было никаких причин; да и перемены, собственно, не было. Я всегда повторял вам, что не знаю, какого рода чувство я имел к вам, и что мне всегда казалось, что что-то не то. Одно время, перед отъездом моим из деревни, одиночество, частые свидания с вами, а главное, ваша милая наружность и особенно характер сделали то, что я почти готов был верить, что влюблен в вас, но все что-то говорило мне, что не то, что я и не скрывал от вас; и даже вследствие этого уехал в Петербург. В Петербурге я вел жизнь уединенную, но, несмотря на то, одно то, что я не видал вас, показало мне, что я никогда не был и не буду влюблен в вас. А ошибиться в этом деле была бы беда и для меня и для вас. Вот и вся история. Правда, что эта откровенность была неуместна. Я мог делать опыты с собой, не увлекая вас; но в этом я отдал дань своей неопытности и каюсь в этом, прошу у вас прощенья, и это мучает меня; но не только бесчестного, но даже в скрытности меня упрекать не следует.

Что делать, запутались; но постараемся остаться друзьями. Я с своей стороны сильно желаю этого, и всё, что касается вас, всегда будет сильно интересоваться меня».

По возвращении домой, в Ясную Поляну, Толстой, несколько раз навещал Арсеньевых, после чего навсегда перестал к ним ездить.

То, что не смогла сделать Валерия Арсеньева, несколькими годами позже удалось Софье Берс.

Предопределенное — неизбежно.

Глава седьмая

СОНЯ БЕРС

Андрей Евстафьевич Берс, подобно многим врачам, женился на своей признательной пациентке. Шестнадцатилетняя Любовь Александровна Исленьева заболела горячкой, а пока шла на поправку, успела влюбиться в немолодого уже врача, который ее лечил. Разница в возрасте между мужем и женой составила восемнадцать лет, но семейному счастью это обстоятельство нисколько не мешало. Любовь Александровна родила мужу тринадцать детей, из которых выжили только восемь — три девочки и пятеро мальчиков.

Доктор Берс был потомком прусского офицера, осевшего в России еще при императрице Елизавете Петровне. Немецкой крови в Андрее Евстафьевиче было мало — всего лишь восьмая часть, и немцем он себя не считал. Скорее уж — москвичом из коренных.

Отец Андрея Евстафьевича был аптекарем, причем аптекарем богатым и удачливым. Серьезно пострадал при московском пожаре 1812 года, он сумел снова встать на ноги, хотя былого благосостояния так и не достиг. Денег, однако, хватило на то, чтобы дать обоим сыновьям, Александру и Андрею, достойное образование. По окончании лучшего в Москве того времени частного учебного заведения немца Христиана Шлецера (пансион этот, называвшийся «Учебным заведением для благородных детей мужского пола профессора Шлецера и доктора Кистера», находился на Мясницкой в доме Лобанова-Ростовского), братья поступили на медицинский факультет Московского университета.

Завершив учебу, Андрей Евстафьевич поступил в домашние врачи к семье Сергея Николаевича и Варвары Петровны Тургеневых, вместе с которыми (в том числе и с их сыном Ванюшей, будущим писателем) отбыл в Париж.

Вернувшись из Парижа, Андрей Евстафьевич поспешил покинуть Тургеневых и поступил на службу в дворцовое ведомство. Причина ухода от Тургеневых была пикантной — красивый и обходительный Андрей Евстафьевич очаровал Варвару Петровну настолько, что между ними возникла связь, плодом которой стала девочка Варенька, Варвара Богданович (данная Богом), которую настоящая мать выдавала за свою воспитанницу. Впрочем, некоторые утверждали, что Тургенева к домашнему врачу никаких особо пылких чувств не питала, а просто отомстила подобным образом своему мужу, то и дело ей изменявшему. Сама Варвара Петровна, красотой, как известно, не отличалась, и кротостью нрава тоже.

В здании Кремлевского дворца придворный доктор получил казенную квартиру. Казенное жилье было выгодно и неудобно. Вот как описывал квартиру Берсов Лев Толстой: «Вся квартира состояла из одного какого-то коридора, дверь с лестницы вела прямо в столовую; кабинет самого владыки был — негде повернуться. Барышни спали на каких-то пыльных просиженных диванах... Теперь это было бы немыслимо. Немыслимо, чтобы к доктору больные ходили по животрепещущей лестнице, проваливались, чтобы в комнате висела люстра, о которую мог задеть головой даже среднего роста человек, так что больной если не провалится на лестнице, то непременно расшибет себе голову о люстру».

Андрей Евстафьевич сочетал в себе подлинно немецкий практицизм с подлинной же немецкой сентиментальностью. Эти черты перешли от отца и к детям, особенно к средней из дочерей — Соне, Софье Андреевне.

Жили Берсы небогато, но двери их дома всегда были открыты для гостей. Вполне возможно, что причиной тому было не только хлебосольство как таковое, но и некоторые практические соображения — имея в семье трех девиц «на выданье», жить замкнуто не следует.

Летние месяцы семейство Берсов проводило на даче в Покровском-Стрешневе, расположенном в двенадцати верстах от города, где вели столь же гостеприимный и веселый образ жизни. Лев Толстой, на правах друга семейства, бывал и здесь, причем бывал не раз.

Дочерей у Берсов было три. Старшая, Елизавета, считалась не только самой красивой, но и самой умной. Она превосходно разбиралась не только в литературе и музыке, но и в философии, что для женщин того времени было нехарактерно. Сестры, желая поддеть Лизу, порой дразнили ее «профессоршей». Лиза отвечала снисходительной улыбкой, характер у нее был спокойный, сдержанный.

Младшая дочь, Татьяна, росла восторженной непоседой. Настроение ее менялось ежеминутно — от смеха к слезам, от романтической печали к бурному, чисто детскому веселью. Дома Таню прозвали «егозой». Таня была не так красива, как Лиза, но ее милого лица, озаренного светом больших карих глаз, вечно искрившихся весельем, не могли испортить чуточку великоватый нос и чрезмерно полные, чувственные губы. Таня имела совершенно чудный голос и в мечтах частенько видела себя певицей. Лев Толстой любил подшутить над Таней, с преувеличенной почтительностью именуя ее «мадам Виардо», имея в виду блистательную певицу Полину Виардо, единственную любовь Ивана Тургенева.

Поэт Афанасий Фет, которого с Берсами познакомил Толстой, писал о трех сестрах: «Все они, невзирая на бдительный надзор матери и безукоризненную

скромность, обладали тем привлекательным оттенком, который французы обозначают словом "du chien"*».

Средняя сестра Соня была не так красива, как Лиза, и не так непосредственна, как Таня, но отличалась от сестер обаянием и грацией. Безукоризненная осанка, пышущее свежестью волевое лицо, густые темные волосы, ослепительная располагающая улыбка и огромные, как и у сестер, глаза. Взгляд у Сони был приветливым и в то же время испытующим, изучающим. Она вообще была серьезной, вдумчивой девочкой с волевым характером и в то же время — большой мечтательницей, подчас склонной к меланхолии.

Андрей Евстафьевич отрицал воспитание в женских учебных заведениях, поэтому все его дочери получили домашнее воспитание. Соня много читала, пробовала сама сочинять сказки, немного рисовала, отдавая предпочтение акварели, хорошо разбиралась в музыке и сама любила играть на фортепьяно. Видя себя в мечтах своих матерью большого семейства, Соня около полутора лет готовилась к экзамену на звание домашней учительницы. Ее готовил студент-медик Василий Богданов. «Это был живой, способный мальчик, — вспоминала о нем Софья Андреевна в своих мемуарах, — интересовавшийся всем на свете, прекрасный студент, умелый учитель и ловкий стихотворец (Богданов написал песню «Дубинушка», пользовавшуюся огромной популярностью в народе. — А.Ш.). Он первый, как говорится, «развивал» нас, трех сестер. Он так умел интересно преподавать, что пристрастил прямо меня, ленивую девочку, например, к алгебре, к русской литературе, особенно к писанию сочинений. Эта форма самостоятельного изложения впечатлений, фактов, мыслей до того мне нравилась, что я писала длинные сочинения с страстным увлечением».

* с огоньком (фр.).

Богданов попробовал было привить Софье материалистические взгляды, давал ей читать философские труды материалистов Людвига Бюхнера и Людвига Фейербаха, внушал, «что Бога нет, что весь мир состоит из атомов», но успеха не добился.

«Уроки наши с Василием Ивановичем кончились довольно печально... — продолжала Софья Андреевна, — недолго я исповедовала материализм: мне вдруг стало невыносимо грустно без религии, я не могла жить без молитвы... И вот я возненавидела своего учителя Василия Ивановича, тем более, что в один прекрасный день он, в числе многих стихотворений, написал мне объяснение в любви, а потом, став на колени, схватил мою руку и начал целовать. Я страшно рассердилась, расплакалась и пошла сначала в свою комнату смыть о-де-колоном поцелуи Василия Ивановича с руки, а потом пошла к матери и пожаловалась на учителя. Она спокойно посмотрела на меня сквозь очки и сказала: "Ох, уж эти мне студенты". И когда пришел Василий Иванович сконфуженный и красный, она ему отказала и сказала мне, что больше русских учителей у меня не будет. Это очень меня огорчило».

В 1861 году Софья Берс выдержала в Московском университете экзамен на звание домашней учительницы. Подобное звание имели и обе ее сестры.

У Софьи был жених — Митрофан Поливанов, товарищ ее старшего брата по кадетскому корпусу. По воспоминаниям Сони, «это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный». Привязанность юноши и девушки была взаимной, и в мечтах Соня порой видела себя «генеральшей Поливановой». Основания для этого у нее имелись, ведь отец Поливанова был генерал, а Митрофан, или Митя, как его звали у Берсов, тоже «подавал надежды». Впоследствии Митрофан Поливанов стал генералом, только вот жена у него была другая, не Соня.

«Веселиться и танцевать мне пришлось в жизни очень мало, — вспоминала Софья Андреевна. — Всякое так называемое ухаживание меня пугало, и я никогда не поощряла их, тем более, как бы наивно это ни было, но раз мы с Поливановым решили, что мы поженимся в далеком будущем, когда он кончит академию и сделает карьеру, то я уже считала себя связанной. Странно, что лично мне никто никогда не делал предложения; вероятно, всякого отпугивал мой наивный страх перед всякими ухаживаниями. Когда мне было 16 лет, молодой сын аптекаря придворного сделал мне предложение через сестру. Я так рассердилась, какая-то глупая, аристократическая гордость поднялась во мне, и я ей только ответила: “Да вы, кажется, с ума сошли”... Весной того же года мы раз сидели на балконе дома Шиловского на Тверской, у тетеньки Шидловской, и пили все чай. По-немногу все разошлись, и я осталась одна на террасе с Давыдовым, кажется, Василием Денисовичем, сыном партизана. Ему было уже за 40 лет, у него был, как мне говорили, удар, и я его иногда встречала у тетеньки. Он мало говорил, но упорно смотрел на меня, и мне всегда это было неловко, и он совсем меня не интересовал. Я хотела уже уйти с террасы, когда вдруг он спросил меня: “Вам Вера Александровна ничего не передавала от меня?” — Ничего. — “Я бы хотел с вами поговорить”. В это время вошла тетенька. Она хитро улыбалась и сказала мне: Василий Денисович тебе делает предложение. — Что? — с ужасом сказала я и прямо обратилась в бегство. Так я его никогда более не видела и не знаю, что случилось с ним впоследствии».

Софья любила в шутку повторять: «когда я буду государыней, я сделаю то-то», или, когда я буду государыней, я прикажу то-то». Однажды, в присутствии Льва Толстого она села в кабриолет своего отца, из которого только что выпрягли лошадь, и воскликну-

ла: «Когда я буду государыней, я буду кататься в таких кабриолетах!» Лев Николаевич, услышав это, схватил оглобли и вместо лошади рысью повез ее, приговаривая: «Вот я буду катать свою государыню». «Не надо, не надо, вам тяжело!» — кричала Софья, которой было и весело, и приятно.

«Мы были еще девочками, — рассказывала Софья Андреевна биографу Левенфельду, — когда Толстой стал бывать в нашем доме. Он был уже известным писателем и вел в Москве веселый, шумный образ жизни. Однажды Лев Николаевич вбежал в нашу комнату и радостно сообщил нам, что только что продал Каткову своих “Казачков” за тысячу рублей. Мы нашли цену очень низкой. Тогда он объявил нам, что его заставила нужда; он накануне проиграл как раз эту сумму в “китайский бильярд”, и для него было делом чести немедленно же погасить этот долг. Он намеревался написать вторую часть “Казачков”, но никогда не выполнил этого. Его сообщение так расстроило нас, девочек, что мы ходили по комнате и плакали».

«Его отношения к нашему дому идут издавна: дед наш Исленев и отец Льва Николаевича были соседи по имению и дружны, — писала Татьяна Андреевна, сестра Софьи. — Семьи их постоянно виделись, и потому мать моя со Львом Николаевичем в детстве была на “ты”. Он ездил к нам, еще бывши офицером. Мать моя была уже замужем и дружна очень с Марией Николаевной, сестрой Льва Николаевича, и у Марии Николаевны я, бывши ребенком, видала часто Льва Николаевича. Он затевал всякие игры с племянницами и со мною. Мне было лет 10, и я его мало помню. Затем несколько лет он не бывал у нас и, возвратившись из-за границы и приехавши к нам на дачу в Покровское (под Москвою), он нашел двух старших сестер моих взрослыми. Из-за границы он привез учителя Келлера и призы-

вал еще других в Москве для своей школы, которой он очень увлекался.

В Покровское он ходил к нам всегда почти пешком (12 верст). Мы делали с ним большие прогулки. Он очень вникал в нашу жизнь и стал нам близким человеком... Во все время его пребывания в Москве, где бы он ни был, он бывал оживлен, весел, остроумен — от него, как от вулкана, летели во все стороны Божьи искры и исходил священный огонь. Помню его часто за роялью. Он привозил нам ноты, разучивал “Херувимскую” Бортнянского с нами и многое другое, аккомпанировал мне ежедневно и называл “мадам Виардо”, заставляя петь без конца».

28 августа 1862 года Софья Берс писала Льву Толстому из Покровского-Стрешнева: «Если б я была государыня, я прислала бы вам в день вашего рождения все милостивейший рескрипт, а теперь, как простая смертная, просто поздравляю вас с тем, что вы в один прекрасный день увидели свет божий, и желаю вам долго еще, и если можно всегда, смотреть на него теми глазами, какими вы смотрите теперь. Соня».

Это — первое и единственное письмо Софьи Андреевны к Льву Николаевичу до замужества, дошедшее до нас. Слова, написанные Софьей, представляют собой часть коллективного письма семьи Берсов, содержащего поздравления к дню рождения Толстого.

«В старину Левочка и Любочка танцевали в этот день, теперь же на старости лет, не худо нам вместе попокойнее отобедать в Покровском в кругу моей семьи, вспомнить молодость и детство», — написала Любовь Александровна Берс.

В своем дневнике от 28 августа Лев Николаевич записал, что Берсы прислали ему «букеты писем и цветов».

До того как Лев Толстой сделал предложение Софье Берс, оставалось двадцать дней.

Глава восьмая

СВАТОВСТВО НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

«Жениться на барышне, — поучал Толстой учителей школы для крестьянских детей, организованной им в Ясной Поляне, — значит навязать на себя весь яд цивилизации».

Одно время он сам подумывал о том, чтобы оставить помещичью жизнь, землю свою передать крестьянам, самому приписаться к яснополянскому крестьянскому обществу, взять себе надел земли, выстроить избу на краю деревни и жениться на крестьянке. Лев Николаевич даже поделился своими планами с яснополянскими школьниками, которые даже принялись подбирать ему невест из числа яснополянских девушек.

Эти мечты Льва Толстого так и остались мечтами, найдя свое отражение в «Анне Карениной», где Левин еще до женитьбы «часто любовался на эту (крестьянскую. — *А.Ш.*) жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этою жизнью». Как и Толстого, Левина нередко посещали мысли о том, чтобы отречься от своей старой жизни, от своих совершенно бесполезных знаний и своего столь же бесполезного образования, чтобы «переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь». В такие минуты Левин мысленно спрашивал себя, как ему следует поступить: «Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество (крестьянское. — *А.Ш.*)? Жениться на крестьянке?»

Безжалостное время брало свое — тетушка Туанет старела и уже не могла должным образом справляться с ведением хозяйства в Ясной Поляне, а самому Льву Николаевичу все больше и больше хотелось семейного счастья. Того самого, соответствующего идеалу, некогда описанному в письме Татьяне Ергольской.

С середины лета 1862 года Лев Николаевич начал чаще бывать у Берсов, живших в то время на даче в Покровском-Стрешневе. У Берсов создалось впечатление, что он намерен сделать предложение старшей из дочерей — Лизе. Слухи об этом пошли и по Москве. Сама Лиза была не прочь стать графиней Толстой и потому всячески выказывала Льву Николаевичу свое расположение, поощряя и даже слегка искушая его. Да-да — искушая, именно это слово можно найти в дневнике Толстого: «Лиза Берс искушает меня; но это не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет».

Ему нравилась Соня, но правила хорошего тона не позволяли (точнее — не рекомендовали) младшим сестрам выходить замуж вперед старших, поэтому Андрей Евстафьевич вместе с Любовью Александровной были уверены в том, что старый друг будет делать предложение Елизавете.

Елизавета была умна, строга и замкнута. «Она не интересовалась нашей детской жизнью, — вспоминала младшая сестра Татьяна, — у нее был свой мир, свое созерцание всего, не похожее на наше детское. Книжки были ее друзья, она, казалось, перечитала все, что только было доступно ее возрасту».

Отдавая должное уму Лизы Берс, Лев Николаевич привлек ее к сотрудничеству в издании своего педагогического журнала «Ясная Поляна». Это обстоятельство, вкуче с частыми визитами Толстого к Берсам, давало Лизе повод надеяться. Она и надеялась.

Тем более что однажды Лев Николаевич признался своей сестре Марии, что семья Берс ему симпатична и что если он когда-нибудь женится, то только на одной из их дочерей. Этот разговор случайно или намеренно подслушала гувернантка племянников Толстого и передала его своей родной сестре, служившей гувернанткой в семье Берсов, где его истолковали в пользу Лизы.

Сама Лиза Берс, по воспоминаниям сестры Татьяны, «всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным, будничным заботам. Маленькие дети, их кормление, пеленки — всё это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку». Не то что Соня, которая, «напротив, часто сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах».

В начале августа 1862 года Любовь Александровна с тремя своими дочерьми и маленьким сыном Володицей приехала навестить своего отца, Александра Михайловича Исленьева, жившего в то время в единственном, оставшемся у него (Александр Михайлович всю жизнь тратил деньги не считая и лишь под старость немного образумился) имении Ивицы, расположенном примерно в пятидесяти верстах от Ясной Поляны.

В Ясной Поляне находилась в то время сестра Толстого, Мария Николаевна, бывшая лучшей подругой детства Любови Александровны. Разумеется, им очень хотелось повидаться, поэтому Любовь Александровна, к тому же с детства не посещавшая Ясную Поляну, приехала туда вместе с детьми.

Гостей встретили с бурной радостью. Софья Андреевна вспоминала, что им отвели большую комнату со сводами на первом этаже, «не только просто, но и

бедно мебелированную». Из обстановки присутствовали диваны с очень жесткими подушками вместо спинок и столик с жесткими сиденьями, выкрашенные белой краской и обитые полосатой, синей с белым, тиковой материей, и одинокое длинное кресло, того же вида. Стол был простым, березовым, явно сделанным местным, домашним столяром. В потолке сводов сохранились железные кольца, на которые некогда вешали всякую всячину от седел и упряжи до окороков — еще при старом князе Волконском это помещение служило кладовой.

Впервые в жизни поев малины прямо с кустов, гости пришли в восторг. Соня не только наслаждалась свежим вкусом спелых ягод, но и любовалась их красотой — красоту она умела увидеть во всем.

Когда гости стали укладываться спать, оказалось, что троим из них постелили на диванах, а вот четвертой места нет. Лев Николаевич приставил к креслу широкую квадратную табуретку, соорудив еще одно спальное место. Соня изъявила желание спать на кресле, и Толстой собственноручно постелил ей постель. «Мне было и совестно, и было что-то приятное, интимное в этом совместном приготовлении ночлегов», — вспоминала Софья Андреевна.

В ожидании ужина Соня взяла стул и вышла из гостиной на маленький балкон, с которого открывался прелестный вид, очаровавший ее на всю жизнь. «То настроение, которое охватило меня в то время, я не забывала никогда, хотя никогда не сумею его описать, — вспоминала она много позже. — Было ли то впечатление настоящей деревни, природы и простора; было ли это предчувствие того, что случилось полтора месяца после, когда я уже хозяйкой вступила в этот дом; было ли это просто прощание с свободной девичьей жизнью или все

вместе, — не знаю. Но настроение мое было очень значительное, серьезное, счастливое и какое-то новое, беспредельное».

Несомненно, Соня чувствовала особое отношение Льва Николаевича и радовалась этому. Толстой всегда ей нравился. Он был не такой, как все, он был немного загадочным и таким трогательным в своем одиночестве. А еще он был гениальным писателем, произведения которого восторженной девушке хотелось не только читать, но и заучивать наизусть.

Толстой пришел звать Соню к ужину, но она отказалась, сказав, что не хочет есть, и продолжала сидеть на балконе. Хозяин ушел к остальным гостям, но вскоре (ужин еще не кончился) вернулся на балкон. Завязался разговор, одна тема сменяла другую. Возмущенная Соня не запомнила, о чем они говорили, в ее памяти осталась только одна фраза Толстого: «Какая вы вся ясная, простая».

«Как хорошо спалось в длинном кресле, приготовленном мне Львом Николаевичем! — вспоминала она. — С вечера я вертелась в нем, было немного неудобно и узко от двух сторон локотников, но я смеялась в душе каким-то внутренним весельем, вспоминая, как Лев Николаевич готовил мне этот ночлег, и засыпала с новым, радостным чувством во всем моем молодом существе».

На следующий день в Ясную Поляну приехали еще гости. Решили отправиться на пикник. Под впечатлением вчерашнего разговора Соня с самого утра находилась в волшебном-прекрасном, приподнятом настроении.

Пикник удался — пили чай на поляне, лазили на стол и оттуда скатывались вниз, короче говоря, день прошел весело и шумно, но Соне и Льву Николаевичу не удалось ни минуты побыть наедине, хотя, вне всяко-

го сомнения, им обоим этого очень хотелось. Не могло не хотеться.

На другое утро Берсы уехали в село Красное, некогда принадлежавшее Александру Исленьеву, где родилась и выросла Любовь Александровна. Лев Николаевич и Мария Николаевна отпустили гостей неохотно, взяв с них обещание снова заехать в Ясную Поляну на обратном пути, хотя бы на один только день.

Из Красного Берсы поехали в Ивицы, к отцу и деду. На другой день в Ивицы неожиданно явился верхом на своей белой лошади Лев Николаевич. Несмотря на проделанный путь в пятьдесят верст, он был бодр, весел и слегка возбужден. Исленьев, любивший не только Льва Николаевича, а вообще всю семью Толстых, радостно и любовно приветствовал гостя.

«Было что-то очень много гостей, — писала в воспоминаниях Софья Андреевна. — Молодежь, после дневного катанья, вечером затеяла танцы. Тут были и офицеры, и молодые соседи-помещики, и много барышень и дам. Все это — толпа неизвестных нам, чужих и чуждых лиц. Но что было за дело? Было весело, и только и надо было. Танцы на фортепиано играли, чередуясь, разные лица.

— Какие вы здесь все нарядные, — заметил Лев Николаевич, глядя на мое белое с лиловым барежевое платье, с светло-лиловыми бантами на плечах, от которых висели длинные концы лент, называемые в то время «*Suivez moi*»*. — Мне жаль, что вы при тетеньке не были такие нарядные, — прибавил с улыбкой Лев Николаевич.

— А вы что ж, не танцуете? — сказала я.

— Нет, куда мне, я уже стар».

* «Следуйте за мной» (*фр.*).

Софья Андреевна вспоминала, что когда все разъехались и разошлись, Лев Николаевич попросил ее задержаться и прочесть кое-что, сказав, что будет писать только начальными буквами, а ей придется отгадывать слова. Девушка согласилась. Они сели за столик для карточных игр, Толстой стер щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал быстро писать. И он, и Соня были очень серьезны, и в то же время сильно взволнованы. «Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали», — вспоминала Софья Андреевна.

«В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.», — написал Лев Николаевич.

«Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья», — сразу же расшифровала Соня. Фраза была достаточно замысловатой, но она утверждала, что в большей мере читала сердцем, а не глазами, и оттого не ошиблась. «Сердце мое забилося так сильно, в висках что-то стучало, лицо горело, — я была вне времени, вне сознания всего земного: мне казалось, что я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в эту минуту», — писала Софья Андреевна.

«В в. с. с. л. в. н. м. и в. с. А. З. м. в. с в. с. Т.», — написал далее Толстой.

«В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой», — быстро и без запинки прочла Соня.

По словам Софьи Андреевны, Толстой даже не был поражен ее пронизательностью, словно все это было в порядке вещей. Оба они были возбуждены настолько, что не могли удивляться ничему.

У этой сцены, оказывается, был невольный свидетель – Танечка Берс, сидевшая под роялем в той же комнате. Сама она утверждала, что пряталась там от взрослых, которые докучали ей просьбами спеть что-нибудь своим ангельским голосом. Версия не выдерживает критики, так как к тому времени все гости уже разъехались и разошлись, так что прятаться от них не было никакой нужды, но так или иначе, по тем или этим соображениям, Таня оказалась в нужное время в нужном месте. По ее воспоминаниям, Соня не смогла разобрать той сложной аббревиатуры, которую написал Лев Николаевич. Руководимая вдохновением, она прочла некоторые слова, но не обошлось и без под-сказок со стороны Льва Николаевича. И якобы даже, Соня впоследствии признавалась Тане, что совсем не могла понять написанного Толстым.

Но это уже не так и важно, главное, что намерения Толстого были прояснены. Образно говоря, Лев Николаевич если не перешел Рубикон, то вошел в него. Надо признать, что декларация намерений вышла оригинальной.

Из оцепенения Льва Николаевича и Соню вывел недовольный голос Любви Александровны, позвавшей дочь спать. Соня наскоро простилась с Толстым и ушла. «Наверху за шкапом я зажгла маленький ога-рок и принялась писать свой дневник, сидя на полу и положив тетрадь на деревянный стул, – рассказывала она. – Я тут же вписала слова Льва Николаевича, написанные мне начальными буквами, и тут же смутно поняла, что между им и мной произошло что-то серьезное, значительное, что уже не может прекратиться. Но я не дала ходу ни своим чувствам, ни своим мечтам по разным причинам. Я точно заперла на ключ все случившееся в этот вечер, с тем чтобы спрятать до времени то, что еще не должно видеть света».

Это было не предложение, но увертюра к нему. Увертюра страстная, мощная, не оставляющая сомнений в намерениях. Так, во всяком случае, думала Соня.

Интересно сравнить с воспоминаниями сестер Берс сцену объяснения Левина и Кити Щербацкой в «Анне Карениной»: «“Как же я останусь один... без нее?” – с ужасом подумал он и взял мелок. – Пстойте, – сказал он, садясь к столу. – Я давно хотел спросить у вас одну вещь».

Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.

– Пожалуйста, спросите.

– Вот, – сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, п, и, т? Буквы эти значили: “когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?” Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.

Она взглянула на него серьезно, потом оперла на-жмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: “То ли это, что я думаю?”

– Я поняла, – сказала она, покраснев.

– Какое это слово? – сказал он, указывая на «н», которым означалось слово никогда.

– Это слово значит никогда, – сказала она, – но это неправда!

Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о...

Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».

Он взглянул на нее вопросительно, робко.

– Только тогда?

– Да, – отвечала ее улыбка.

— А т... А теперь? — спросил он.

— Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! — Она написала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, что было».

Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас».

Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой.

— Я поняла, — шепотом сказала она.

Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его: так ли? взяла мел и тотчас же ответила.

Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела; но в прелестных сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ: Да».

Из Ивиц, как и было обещано, Берсы снова на день заехали в Ясную Поляну. На этот раз там не было весело — день прошел в сборах. Мария Николаевна собиралась уезжать вместе с Берсами в Москву, а оттуда за границу, где ее ждали дети. Застенчивую Соню смущало повышенное внимание к ней Льва Николаевича и подозрительные взгляды всех окружающих, в первую очередь сестер, заметивших это.

В Туле была нанята большая карета, имевшая четыре места внутри, и два, словно в крытой пролетке, сзади. К удивлению отъезжающих, Толстой вдруг выразил желание ехать вместе с ними. «Разве можно теперь

оставаться в Ясной Поляне? Будет так пусто и скучно», — сказал он.

Соня догадалась, что Лев Николаевич поступает так неспроста, и очень обрадовалась. Решено было, что Толстой поедет на одном из задних, открытых, мест, а Соня с сестрой Лизой станут скрашивать его одиночество, меняясь во время каждой остановки на станциях.

Соне страшно хотелось спать, она зябла на открытом воздухе, куталась в накидку и в то же время ощущала себя счастливой, находясь подле любимого ею с детства человека, давнего друга семьи, автора восхитительных книг, и, вдобавок ко всему, такого ласкового с ней, и от этого нравившегося ей еще больше. Толстой подробно и красочно рассказывал Соне о своей жизни на Кавказе, о красоте тамошних гор и красоте первозданной природы вообще. Не умолчал он и о своих подвигах. «Мне так хорошо было от его голоса, равномерного, но как будто горлового, издавон откуда-то, и нежно-растроганного. И я то минутами засыпала, то опять просыпалась, и все тот же голос рассказывал мне красиво и поэтично свои кавказские сказки», — вспоминала Софья Андреевна.

Ехали всю ночь. На последней станции перед Москвой ехать со Львом Николаевичем должна была Соня, но Лиза упростила сестру уступить ей очередь, сославшись на духоту внутри кареты. Видимо, Лиза чувствовала, что акции ее стремительно падают, и намеревалась поправить положение, оказавшись наедине с Толстым.

Соня согласилась, но в итоге вышел конфуз. Увидев, как Соня садится в карету, Лев Николаевич напомнил ей, что сейчас ее очередь ехать сзади. Соня сказала, что она замерзла, и поспешила захлопнуть за собой дверцу кареты. Толстой постоял минуту, словно в раздумьях, и уселся на козлы, рядом с кучером. Лизе пришлось

ехать в одиночестве. Можно представить себе, как она злилась.

В Москве Толстой поселился на съемной квартире и занялся хлопотами по поводу яснополянской школы и издания педагогически-просветительского журнала под названием «Ясная Поляна», предназначенного для народных школ. Он также подал через дежурного флигель-адъютанта письмо императору Александру II, находившемуся в Москве по случаю маневров на Ходынском поле. Письмо содержало жалобу по поводу оскорбления, нанесенного Толстому жандармским обыском в Ясной Поляне 23 августа 1862 года, проведенным без всяких на то оснований.

Дела не мешали Толстому часто навещать Берсов на их даче в Покровском. Лев Николаевич и Соня подолгу гуляли вдвоем, оживленно беседуя. Однажды Толстой поинтересовался, ведет ли Соня дневник. Соня ответила, что она не только ведет дневник с одиннадцатилетнего возраста, но и написала прошлым летом длинную повесть. Лев Николаевич попросил дать прочесть ему дневники, но Соня отказалась. Тогда Толстой захотел прочитать повесть и получил ее. «26 августа. Пошел к Берсам пешком, покойно, уютно. Девичий хохот. Соня нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты. Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но “необычайно непривлекательной наружности” и “переменчивость суждений” задело славно (главный герой Сониной повести, князь Дублицкий, списанный ею с Толстого, был «необычайно непривлекательной наружности» и имел «переменчивость суждений». — А.Ш.). Я успокоился. Все это не про меня», — записал Толстой в своем дневнике.

Повесть под названием «Наташа» Соня написала летом 1862 года — чувства юной девушки требовали

выхода, пусть даже и на бумаге. Считается, что именно не дошедшая до нас «Наташа» послужила основой для создания семейства Ростовых в «Войне и мире» и существенно повлияла на образ Наташи Ростовской, любимой героини Льва Николаевича.

Рукопись повести была уничтожена Софьей Андреевной вместе со своими девичьими дневниками. Благодаря Татьяне Берс, в замужестве ставшей Кузминской, нам хотя бы известно содержание «Наташи».

В этой повести два главных героя-мужчины: Дублицкий и Смирнов, и одна женщина, точнее девушка — Елена. Дублицкий некрасивый, но энергичный и умный господин средних лет, с переменчивыми взглядами на жизнь. Смирнов — прямая противоположность Дублицкого, он молод (что-то около двадцати трех лет), слегка флегматичен, доверчив. В отличие от неприкаянного Дублицкого, Смирнов целеустремленно делает карьеру, умудряясь оставаться при этом идеалистом. Елена — юная красавица, пленяющая мужчин прежде всего своими большими черными глазами. Елена — средняя из трех сестер. Старшая ее сестра Зинаида описана несимпатичной расчетливой и холодной, а младшая, пятнадцатилетняя, Наташа — резвой и милой. Повесть была не столько художественной, сколько документальной.

Смирнов влюблен в Елену, и она отвечает ему взаимностью, но не спешит принимать его предложение, так как ее родители выступают против этого брака по причине молодости и жизненной несостоятельности Смирнова. Смирнов, разумеется, страдает, мучается и уезжает куда-то по делам службы, освобождая сцену для Дублицкого, в которого тайно влюблена Зинаида. Сам же Дублицкий просто бывает с визитами в доме сестер без каких-либо мыслей о любви. Постепенно Елена влюбляется в Дублиц-

кого, совершая тем самым, как ей кажется, двойное предательство — перебегая дорогу старшей сестре и изменяя Смирнову. Честная девушка борется со своим чувством, но борется безуспешно. Постепенно Дублицкий увлекается Еленой, совершенно не обращая внимание на ее старшую сестру, и оттого любовь Елены, как и следовало ожидать, разгорается еще ярче.

Пламя любви, пылающее в душе девушки, не может охладить ни переменчивость жизненных взглядов Дублицкого, ни предъявляемые им требования, ни его нерешительность, подчас граничащая с холодностью. Елена мысленно сравнивает Дублицкого со Смирновым, таким простым, таким понятным, делает выводы в пользу последнего и... продолжает любить Дублицкого.

Очень своевременно возвращается Смирнов. Будучи не в силах выносить его душевные муки и в то же время испытывая все усиливающееся влечение к Дублицкому, Елена собирается уйти в монастырь.

Закрученный сюжет, достойный Стендаля, Достоевского или Льва Толстого, заканчивается банальной, пресноватой развязкой. Елена всячески пытается устроить брак Зинаиды с Дублицким, после чего сама выходит замуж за Смирнова.

Столь откровенная исповедь Сони, преподнесенная в виде повести, да еще с намеком на явно нежелательную для Толстого концовку, вне всякого сомнения, заставила его задуматься над своими чувствами к Соне, и, быть может, даже разожгла в его душе ревность, азарт охотника.

«Соня нехороша, вульгарна была, но занимает», — пишет Толстой в дневнике. Как образно — нехороша, даже вульгарна, но — занимает ведь! Лев Толстой был поистине великим писателем, способным при помощи

всего нескольких слов так ярко и точно описать свои чувства.

«Какие были тогда чудесные лунные вечера и ночи, — восторгалась Софья Андреевна. — Как сейчас, вижу я ту полянку, всю освещенную луной, и отражение луны в ближайшем пруду. Были какие-то стальные, свежие, бодрящие августовские ночи... “Какие сумасшедшие ночи”, — часто говаривал Лев Николаевич, сидя с нами на балконе или гуляя с нами вокруг дачи. Не было между нами никаких романтических сцен или объяснений. Мы так давно знали друг друга. Общение между нами было так легко и просто. И точно я спешила доживать какую-то чудесную, свободную жизнь, ясную, ничем не спутанную, девичью жизнь. Все было хорошо, легко, ничего не хотелось, никуда я не стремилась.

И вот опять и опять приходил к нам Лев Николаевич. Иногда, когда он поздно у нас засиживался, родители мои оставляли его ночевать. Раз мы пошли его провожать, — это было в самом начале сентября, и когда надо было уже с ним расстаться и возвращаться домой, сестра Лиза поручила мне пригласить Льва Николаевича ко дню ее именин, 5 сентября. Я как-то задорно-настойчиво стала его звать; он сначала отказывался, удивлялся и спрашивал: “Почему вы именно на пятое зовете?” Объяснять я не смела. Меня просили об именинах не упоминать.

Лев Николаевич обещал и, к общей нашей радости, пришел. С ним всегда все было интересно и весело».

С каждым днем чувство Сони к Толстому становилось все глубже и сильнее. Девушка влюбилась по-настоящему и, несомненно, с огромным удовольствием примеряла на себя роль жены гения, в гениальности Толстого у Сони не было сомнений. Осознавала ли она по молодости лет, каких жертв

потребуется от нее служение таланту своего избранника?

28 августа Толстой писал в дневник: «Мне 34 года. Встал с привычкой грусти... Поработал, написал Соне... Сладкая успокоительная ночь. Скверная рожа, не думай о браке, твое призвание другое, и дано зато много».

Практически ежедневные посещения Толстого продолжались и после переезда в Москву. Однажды Соня сказала матери: «Все думают, что Лев Николаевич женится не на мне, а он, кажется, меня любит». Мать рассердилась и посоветовала дочери не думать глупостей. Соня расстроилась, не ожидая подобной резкости, и после этого уже ни с кем не говорила о Льве Николаевиче.

К тому времени Андрей Евстафьевич и Любовь Александровна уже начали сердиться на Толстого за то, что он, чуть ли не ежедневно бывая с визитами, не делает, согласно обычаю, предложения старшей из дочерей. Отец семейства сделался холоден не только со Львом Николаевичем, но и с Соней, считая, что она пытается лишиться счастья свою старшую сестру. Обстановка в доме Берсов потихоньку накалялась. Соня чувствовала к себе недоброжелательное отношение и молча страдала.

«Андрей Евстафьевич в своей комнате, как будто что украл, — писал Толстой в дневнике 8 сентября. — Танечка серьезно строга. Соня отворила, как будто похудела. Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других, — условно поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет. (С Сашей зашел в деревню — девка, крестьянская кокетка, увы, заинтересовало.) Лиза как будто спокойно владеет мной. Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой».

Письмо, написанное Толстым Соне 9 сентября, попало к ней в руки уже после свадьбы. В нем Лев Николаевич снова пытался опровергнуть «ложный взгляд» семейства Берсов по отношению к нему, утверждая, что он не влюблен в Лизу и не пытается ухаживать за ней. Писал Лев Николаевич и о том, почему повесть Сони засела у него в мыслях. «В ней я узнал себя Дублицким, — пишет Толстой, несмотря на то, что совсем недавно записал в дневник совершенно противоположное, — и ясно убедился в том, что я, к несчастью, забываю слишком часто, что я — дядя Лявон, старый, необычайно непривлекательный черт, который должен один упорно и серьезно работать над тем, что ему дано от Бога, а не думать о другом счастье, кроме сознания исполненного дела... Я бываю мрачен, — пишет он, — глядя именно на вас, потому что ваша молодость напоминает мне слишком живо мою старость и невозможность счастья».

Признавшись, что прочитанная им повесть «совершенно отрезвила» его, Толстой сообщает о своем решении отказаться впредь от визитов к Берсам, пусть для него это равносильно отказу от «лучшего наслаждения». Заканчивалось письмо так: «Я Дублицкий, но только жениться на женщине так, потому что надо же жену, я не могу. Я требую ужасного, невозможного от женитьбы. Я требую, чтоб меня любили так же, как я могу любить. Но это невозможно... Я перестану ездить к вам, защитите меня вы с Танечкой».

Вряд ли дело зашло так далеко, тем более что письмо так и не было отправлено, просто Лев Николаевич, по обыкновению своему, никак не мог решиться и сделать предложение Соне. Ему хотелось жениться на ней, и в то же время он боялся, что она согласится. Жажда перемен в душе Толстого сопровождалась страхом, который эти перемены вызывали.

Что это? Нерешительность? Мнительность? Стремление сохранить свою свободу, борющееся с желанием обрести семью? Сомнения в правильности выбора? Вероятно — все вместе, всего понемногу. Не исключено, что идеальный образ женщины, созданный Толстым в своем воображении и тесно отождествлявшийся с образом матери, примерялся им к каждой из кандидаток в спутницы жизни. Разумеется, ни одна из них не могла соответствовать Идеалу, и оттого выбор был очень труден, приходилось уговаривать себя поступиться то тем, то этим, жертвы давались тяжело, часто тянуло вообще отказаться от своих намерений, он отказывался, и тут сразу же черной волной накатывало одиночество. Тоска рождала желание, нет — стремление, стремление обрести близкого человека, обрести как можно скорее... и вновь одолевали сомнения. Закрытый круг, ловушка, в которую разум загнал себя сам и мучился в поисках выхода.

Если не понять, то хотя бы приблизиться к пониманию того, что испытывал Толстой в то время, помогает описание чувств Левина в «Анне Карениной»: «Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет, сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятностям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее».

Творчество Льва Толстого связано с его жизнью, с его окружением, великим множеством незримых нитей. Не случайно фамилия Левина образована от имени автора, совсем не случайно.

Читаем «Анну Каренину» дальше: «Пробыв в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день выдавая с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.

Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже — который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель — директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрельянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.

Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити — отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, — казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но чтобы быть любимым тою любовью, какою он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное — особенным человеком».

Далее следует прямо-таки сокровенный пассаж: «Слышал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил

по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин».

Понимала ли Соня, что творится в душе Толстого?

Наверяд ли, она поняла это впоследствии, много позже, когда уже ничего нельзя было изменить.

12 сентября 1862 года Лев Николаевич записал в дневнике: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить, Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий, пускай, но я прекрасен любовью. Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел, надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. Господи, помоги мне».

13 сентября: «Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь».

Такие же чувства обуревали и Левина. «...Пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или... он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут».

14 сентября: «4-й час ночи. Я написал ей письмо, отдам завтра, то есть нынче 14. Боже мой, как я

боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне... Спал только полтора часа, но свеж и нервозен страшно. Утром то же чувство... Положение объяснилось, кажется. Она странная... не могу писать для себя одного. Мне так кажется, я уверен, что скоро у меня уже не будет тайн для одного, а тайны для двух, она будет все читать... Что-то будет».

15 сентября: «Не сказал, но сказал, что есть, что сказать».

Он решил 16 сентября, в субботу, вечером. Чуть ли не весь день провел у Берсов, и, улучив минутку, пригласил Соню в комнату ее матери, где никого в то время не было, и отдал ей письмо, которое уже несколько дней носил в кармане. Соня схватила письмо и тут же устремилась бежать вниз, в комнату, где жила с сестрами. Там письмо было прочтено.

«Софья Андреевна, мне становится невыносимо, — писал Толстой. — Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и уйду с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать вам все. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове, оттого что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье, что ваши отличные поэтические требования любви... что я не завидую и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В Ивицах я писал: “Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость, и именно вы”. Но и тогда и теперь

я лгал перед собой. Еще тогда я мог бы оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе; что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком потеряны. И я не могу уехать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради бога не торопясь, скажите, что мне делать? Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, если бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучиться, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: да, а то лучше скажите: нет, ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать: нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести.

Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно!»

Соня пробежала по письму глазами, наткнулась на фразу: «Хотите ли вы быть моей женой», и уже хотела вернуться к Толстому с утвердительным ответом, но в дверях столкнулась со старшей сестрой. По иронии судьбы Лиза оказалась первым человеком, узнавшим о том, что Лев Николаевич сделал Соне предложение. Следующей стала Любовь Александровна, а чуть позже уже весь дом узнал о случившемся и бросился поздравлять жениха и невесту.

Поздравления продолжались и на следующий день, 17 сентября, когда праздновались именины Сони и ее матери. Соня была на седьмом небе от счастья. Свадьбу было решено играть очень скоро — через неделю. «Жених, подарки, шампанское. Лиза жалка и тяжела, она должна быть меня ненавидеть. Целует», — вечером написал в дневнике Лев Николаевич.

Кстати говоря, первое предложение Левина было отвергнуто Кити: «Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала.

— Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал... что это от вас зависит...

Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся.

— Что это от вас зависит, — повторил он. — Я хотел сказать... я хотел сказать... Я за этим приехал... что... быть моею женой! — проговорил он, не зная сам, что говорил; по, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее.

Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила:

— Этого не может быть... простите меня...

Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему!

— Это не могло быть иначе, — сказал он, не глядя на нее».

В понедельник, 18 сентября, произошло объяснение между женихом и отцом его невесты. Оно было недолгим и по сути своей формальным. Толстой объяснил, что его намерения, которые он из скромности скрывал до поры, были изначально неверно истолкованы, и на том дело закончилось. Андрей Евстафьевич снова стал с ним приветлив и дружелюбен.

Несмотря на то, что от предложения до свадьбы было совсем мало времени, Толстой успел передумать

и начал сомневаться в правильности принятого решения. «Непонятно, как прошла неделя, — можно прочесть в его дневнике. — Я ничего не помню; только поцелуй у фортепьяно и появление сатаны, потом ревность к прошедшему, сомненья в ее любви и мысль, что она себя обманывает».

Глава девятая

НЕИМОВЕРНОЕ СЧАСТЬЕ

Если в преддверии свадьбы, Толстой и передумал жениться, не захотел связывать себя, то взять назад свое предложение, отказаться от намерения жениться на Соне, когда дело зашло столь далеко, было уже невозможно. Подобный поступок мог навек погубить репутацию Толстого в глазах света, приклеив к нему ярлык бесчестья или, хуже того — сумасшествия, а к собственной репутации Лев Николаевич всегда относился весьма бережно, если не сказать — трепетно. Несмотря на все свои причуды и странности, граф Толстой всю жизнь продолжал оставаться «человеком из светского общества», всячески это общество эпатируя. «По своему рождению, по воспитанию и по манерам, — писал сын Льва Николаевича Илья, — отец был настоящий аристократ. Несмотря на его рабочую блузу, которую он неизменно носил, несмотря на его полное пренебрежение ко всем предрассудкам барства, он барином был, и барином он остался до самого конца своих дней».

Можно предположить, что изощренное воображение, вдобавок натренированное писательством, подсказало Толстому превосходный выход из создавшегося положения. Накануне свадьбы он дал прочесть своей невесте, невинной, восторженной и безгранично влюбленной девушке, все свои дневники, беспощадно откровенные, а местами даже шокирующие. Вот, например, Лев Николаевич пишет о своей любовнице — крестьянке: «Ее нигде нет — искал. Уж не чувство оленя, а мужа

к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщенности и не могу». Впрочем, одно лишь отражение «романа» с Валерией Арсеньевой могло заставить Соню призадуматься.

Не заставило, или же заставило, но не привело к правильному выводу.

Доверчивый мотылек самозабвенно летел на огонь, искренне веря в то, что впереди его ждет счастье, только счастье и ничего кроме счастья.

«Помню, как тяжело меня потрясло чтение этих дневников, которые он мне дал прочесть, от излишней добросовестности, до свадьбы, — признавалась Софья Андреевна. — И напрасно: я очень плакала, заглянув в его прошлое».

Наивная Соня усмотрела «излишнюю добросовестность» там, где ее не было и в помине. Если Толстой рассчитывал на то, что после знакомства с дневниками Соня вернет ему его предложение, то расчет этот не оправдался.

Не исключено, конечно же, что Лев Николаевич давал возможность невесте прочесть свои дневники совсем по другой причине, являя высшую откровенность, но трудно предположить, что этот шаг был вызван всего лишь желанием раскрыться полностью перед любимым человеком. Да и любимым ли? Уж слишком много было колебаний и сомнений. Если же подобным образом Толстой решил испытать на прочность Сонино чувство к нему, то поступил, по меньшей мере, недостойно.

«Все его прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним, — напишет Соня в дневнике уже после замужества. — Разве когда будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтоб у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту без прошедшего, без гадостей, без

всего, что теперь так горько видеть в муже. Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная Бог знает на кого и на что...»

«...всё то нечистое, что я узнала и прочла в прошлых дневниках Льва Николаевича, никогда не изгладилось из моего сердца и осталось страданием на всю жизнь», — писала она в автобиографическом сочинении «Моя жизнь».

Неделя перед свадьбой всегда полна хлопот, большей частью — приятных, знаменующих начало новой жизни. Софья Андреевна вспоминала: «Эта неделя прошла, как тяжелый сон. Для многих свадьба моя оказалась горем (явно имелись в виду родители и старшая сестра Елизавета. — А.Ш.), и Лев Николаевич страшно торопил свадьбой. Моя мать говорила, что нужно сшить если не все приданое, то хотя бы все самое необходимое.

— Да ведь она одета, — говорил Лев Николаевич, — да еще всегда такая нарядная.

Кое-что сшили мне наскоро, главное — весь свадебный наряд, и назначили свадьбу на 23-е сентября, в 7 часов вечера, в дворцовой церкви. У нас шли спешные приготовления, но и у Льва Николаевича было много хлопот. Он купил прекрасный дормез, заказывал фотографии всей моей семьи, подарил мне брошку с бриллиантом. Снял и свой портрет, который я просила вдевать в подаренный мне отцом золотой браслет... Я вся была поглощена своей любовью и страхом потерять любовь Льва Николаевича. И этот страх и потом, во всю мою жизнь, оставался в моем сердце...»

Когда зашел разговор о совместном будущем, неприменный между женихом и невестой, Лев Нико-

лаевич предложил Соне выбрать: остаться ли после свадьбы пожить в Москве с родными, уехать ли за границу или напрямик отправиться в Ясную Поляну, их общий дом. Соня выбрала последнее, желая сразу начать серьезную семейную жизнь, что очень обрадовало ее будущего мужа. Во всяком случае, так показалось Соне.

«Анна Каренина», часть пятая, глава первая: «Когда он (Левин. — А. III.) передал Кити совет Степана Аркадьича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчет их будущей жизни какие-то свои определенные требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. Это определенно выраженное намерение удивило Левина».

Был ли Лев Николаевич обрадован, или всего лишь только удивлен, большого значения не имеет. Главное, что он не оспаривал этого решения своей невесты, а значит, оно пришлось ему по душе.

Наконец, «тяжелый сон» подошел к концу. Наступило 23 сентября — день свадьбы.

«В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства. Торжество обряда. Она заплаканная», — написано в дневнике Толстого.

«Страх, недоверие и желанье бегства»... Разумно ли под властью подобных чувств вести девушку под венец? Тем более, будучи значительно старше и опытнее ее. Судя по этой дневниковой записи, Лев Николаевич не мог быть причислен к числу счастливых молодоженов.

Софья Андреевна описала этот знаменательный день более подробно. Утром к ней явился жених, который «начал меня мучить допросами и сомнениями в моей любви к нему». «Мне даже казалось, что он хочет бежать, — верно подметила невеста, — что он испугался женитьбы. Я начала плакать».

Уединение нарушила Любовь Александровна, которая принялась упрекать Льва Николаевича. «Нашел, когда ее расстраивать, — говорила она. — Сегодня свадьба, ей и так тяжело, да еще в дорогу надо ехать, а она вся в слезах». Толстой смутился, перестал «мучить допросами и сомнениями» и вскоре ушел готовиться к венчанию.

Точно так же, как Лев Николаевич, поступает и Левин: «Оставшись один... Левин еще раз спросил себя: есть ли у него в душе это чувство сожаления о своей свободе, о котором они говорили? Он улыбнулся при этом вопросе. «Свобода? Зачем свобода? Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями, то есть никакой свободы, — вот это счастье!»

«Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства?» — вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение, сомнение во всем.

«Что, как она не любит меня? Что, как она выходит за меня только для того, чтобы выйти замуж? Что, если она сама не знает того, что делает? — спрашивал он себя. — Она может опомниться и, только выйдя замуж, поймет, что не любит и не могла любить меня». И странные, самые дурные мысли о ней стали приходить ему. Он ревновал ее к Вронскому, как год тому назад, как будто этот вечер, когда он видел ее с Вронским, был вчера. Он подозревал, что она не все сказала ему.

Он быстро вскочил. «Нет, это так нельзя! — сказал он себе с отчаянием. — Пойду к ней, спрошу, скажу последний раз: мы свободны, и не лучше ли остановиться? Все лучше, чем вечное несчастье, позор, неверность!» С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на нее он вышел из гостиницы и поехал к ней.

Никто не ждал его. Он застал ее в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу.

— Ах! — вскрикнула она, увидав его и вся просияв от радости. — Как ты, как же вы (до этого последнего дня она говорила ему то «ты», то «вы»)? Вот не ждала! А я разбираю мои девичьи платья, кому какое...

— А! это очень хорошо! — сказал он, мрачно глядя на девушку...

— Что с тобой? — спросила она, решительно говоря ему «ты», как только девушка вышла. Она заметила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее нашел страх.

— Кити! я мучаюсь. Я не могу один мучиться, — сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь перед ней и умоляюще глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему все-таки нужно было, чтоб она сама разуверила его. — Я приехал сказать, что еще время не ушло. Это все можно уничтожить и поправить.

— Что? Я ничего не понимаю. Что с тобой?

— То, что я тысячу раз говорил и не могу не думать... то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж. Ты подумай. Ты ошиблась. Ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня... Если... лучше скажи, — говорил он, не глядя на нее. — Я буду

несчастлив. Пускай все говорят, что хотят; все лучше, чем несчастье... Все лучше теперь, пока есть время...

— Я не понимаю, — испуганно отвечала она, — то есть что ты хочешь отказаться... что не надо?

— Да, если ты не любишь меня.

— Ты с ума сошел! — вскрикнула она, покраснев от досады.

Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платья с кресла, пересела ближе к нему.

— Что ты думаешь? скажи все.

— Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что ты можешь любить меня?

— Боже мой! что же я могу?.. — сказала она и заплакала.

— Ах, что я сделал! — вскрикнул он и, став пред ней на колени, стал целовать ее руки».

Утренним визитом жениха сюрпризы свадебного дня не закончились. «В седьмом часу мои сестры и подружки начали меня одевать, — писала далее Софья Андреевна. — Я просила не брать парикмахера, причесалась сама, а барышни закололи мне цветы и длинную тюлевую вуаль. Платье было тоже тюлевое, по тогдашней моде, с очень открытой шеей и руками. Все это окружало меня как облако, так все было тонко и воздушно. Худые плечи и руки сложившейся еще девочки имели жалкий и костлявый вид. Но вот я готова, ждем от жениха посланного шафера с объявлением, что жених в церкви. Проходит час и больше — нет никого. В голове моей мелькнула мысль, что он бежал, — он был такой странный утром».

Конечно же, после всего пережитого, невеста имела основания для того, чтобы сомневаться в верности своего жениха, но все обошлось. Виновником задержки оказался старательный, но недалекий лакей

Толстого, упаковавший в багаж все чистые рубашки графа, не оставив ни одной для предстоящего венчания. Багаж Толстого был в первой половине дня доставлен со съемной квартиры графа домой к Берсам, поскольку именно оттуда был запланирован отъезд в Ясную Поляну. Попытки купить новую рубашку в воскресенье оказались тщетными — ни один магазин не работал, вот и пришлось лакею ехать к Берсам за рубашкой.

История с рубашкой описана в «Анне Карениной» с практически документальной точностью:

«— А рубашка! — вскрикнул Левин.

— Рубашка на вас, — с спокойною улыбкой ответил Кузьма.

Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказание все уложить и свезти к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся: все заперто — воскресенье. Послали к Степану Аркадьичу, привезли рубашку; она была невозможно широка и коротка. Послали, наконец, к Щербацким разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать.

Наконец виноватый Кузьма, насилу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой».

Задержка вышла долгой, Соня нервничала, нервничали и ее родители, но вот наконец явился шафер жениха, объявивший, что жених ждет невесту в церкви. Традиционные слезы, благословения, прощание с родительским домом, прощание с детством...

«Торжественно и молча поехали мы все в церковь, в двух шагах от дома, где мы жили, — писала Софья Андреевна. — Я плакала всю дорогу. Зимний сад и придворная церковь Рождества Богородицы были великолепно освещены. В дворцовом зимнем саду меня встретил Лев Николаевич, взял за руку и повел к дверям церкви, где нас встретил священник. Он взял в свою руку наши обе руки и подвел к аналою. Пели придворные певчие, служили два священника, и все было очень нарядно, парадно и торжественно. Все гости были уже в церкви. Церковь была полна и посторонними, служащими во дворце. В публике делали замечания о моей чрезмерной молодости и заплаканных глазах... Что касается меня, я уже столько за все дни пережила волнений, что, стоя под венцом, я ничего не испытывала и не чувствовала. Мне казалось, что совершается что-то несомненное, неизбежное, как всякое стихийное явление. Что все делается так, как нужно, и рассуждать уж нечего».

Чувства, испытанные Львом Николаевичем во время венчания, созвучны с чувствами Левина: «Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, — что все это было ребячество и что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор и теперь еще менее понимает, хотя это и совершается над ним; в груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза».

Примечательно, что во время венчания венец над головой невесты держал несчастный и отвергнутый Митрофан Поливанов, испивший, по словам самой Сони, чашу страданий до дна. При известии о том, что его возлюбленная выходит замуж за другого, с Поливановым случилась поистине детская, совершенно не мужская истерика, но он сумел совладать

со своим горем, простил Соне ее «измену» и под конец явил высшее благородство, приняв участие в венчании совершенно не в той роли, в которой желал бы выступить.

Лев Николаевич торопил со свадьбой, продолжал торопить он и с отъездом в свое имение. Новоиспеченную графиню Толстую душили слезы. Она впервые осознала, что навек отрывается от своей семьи, от тех, кого столь сильно любит, с кем прожила всю свою жизнь. Соня, как могла, старалась сдерживаться, но во время прощания с больным отцом дала волю слезам. Плакала она и прощаясь с сестрой Лизой, та тоже прослезилась. В общем, слез вышло много, уже в дороге Лев Николаевич попенял супруге на то, что столь тяжелое расставание со своей семьей свидетельствует о недостаточной любви к мужу. «Он тогда не понял, что если я так страстно и горячо люблю свою семью, то ту же способность любви я перенесу на него и на наших детей. Так и было впоследствии», — писала Софья Андреевна.

Если в Москве горели фонари, то за городом было темно и жутко. Тьма вокруг еще больше удручала Соню и до первой остановки в деревне Бирюлево она хранила мрачное молчание. Лев Николаевич, понимая, что творится в душе жены, относился к ней с бережной нежностью. Во время чаепития в Бирюлеве, Соня слегка оттаяла.

Где-то между Бирюлевым и Ясной Поляной Соня стала женщиной — пылкий Лев Николаевич не смог дотерпеть до дома.

Утомительная осенняя дорога заняла чуть меньше суток. Вечером другого дня молодожены прибыли в Ясную Поляну. У порога их, согласно русскому обычаю, встречали Татьяна Ергольская с образом знамения Божьей Матери в руках и брат Льва Николаевича

Сергей с хлебом-солью. Соня поклонилась им в ноги, перекрестилась, поцеловала образ и Ергольскую.

По приезде она написала письмо сестре Тане, спеша поделиться впечатлениями: «Тетенька такая довольная, Сережа (Сергей Николаевич Толстой. — А. III.) такой славный, а про Левочку и говорить не хочу, страшно и совестно, что он меня так любит, — Татьяна, ведь не за что? Как ты думаешь, он может меня разлюбить? Боюсь я о будущем думать». Толстой приписал к этому письму: «Дай Бог тебе такого же счастья, какое я испытываю, больше не бывает».

Больше не бывает...

25 сентября 1862 года Лев Николаевич записал в своем дневнике: «Гулял с ней и Сережей. Обед. Она слишком рассмелилась. После обеда спал, она писала. Неимоверное счастье. И опять она пишет подле меня. Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью».

Следующая запись в дневнике счастливого молодожена носит несколько иной характер и являет собой образец толстовской противоречивости: «Я себя не узнаю. Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю все так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас все, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал. Она прелесть. Я люблю ее еще больше. Но нет ли фальши».

«Фетушка, дядинька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич. — Я две недели женат и счастлив и новый, совсем новый человек», — писал Толстой Афанасию Фету, и в том же духе сообщал зятю и близкому другу Фета Ивану Борисову: «Дома у нас всё слава Богу, и живем мы так, что умирать не надо».

«Любезнейший граф! — ответил Толстому Афанасий Фет. — Не могу достаточно... высказать Вам, какую

радостью обдало меня Ваше лаконическое, но милое послание. Вы счастливы — и я рад душевно за Вас. Вы давно стоите быть счастливым, и дай Бог, чтобы нежная рука всадила в Ваш мозг (в физиогномии не силен) тот единственно слабый у Вас винт, который был у Вас шаток и не позволял всему отличному человеку гулять всецелью по свету».

Спустя несколько дней Фет прислал Толстому «астрономическую эпиталию» — стихотворение, написанное на женитьбу Льва Николаевича:

*Кометой огненно-эфирной
В пучине солнечных семей,
Минутный гость и гость всемирный,
Ты долго странствовал ничей.*

*И лишь порой к нам блеск мгновенной
Ты досылал своим лучом,
То просияв звездой нетленной,
То грозным пламенным мечом.*

*Но час и твой пробил — комета!
(Благослови глагол его!)
Пора свершать душе поэта
Свой путь у солнца одного.*

*Довольно странствовать по миру,
Пора одно, одно любить,
Пора блестящему эфиру
От моря сушу отделить.*

*Забуть вражду судьбы безбрачной,
Пути будящего огня
И расцветить одеждой злачной
В сияньи солнечного дня.*

Афанасий Фет в душе всю жизнь оставался восторженным идеалистом.

Надо отдать должное Лизе — быстро оправившись от потрясения, она повела себя очень достойным образом. Андрей Евстафьевич писал Соне в начале октября 1862 года: «На счет Лизы будь совершенно покойна; она так же очень желает, чтобы вы жили у нас, и ты увидишь, как она радушно обоих вас обнимет; она совершенно покойна и так обо всем умно рассудила, что я не могу довольно на нее нарадоваться. Будь уверена, что она от души радуется твоему счастью». Лиза не прекратила помогать Толстому в его делах, так, например, она подбирала ему часть материалов, необходимых для работы над «Войной и миром».

«Меня очень удивляет, что Соня и вообще Берсы так дурно говорят о Лизе и называют ее Лизкой, — писала в своем дневнике в канун Рождества 1864 года племянница Толстого, дочь Марии Николаевны, Варвара. — Я бы очень желала ее видеть и посмотреть, отчего она так всем не нравится; по портретам она недурна, очень умна, учит детей, много занимается, я не нахожу в этом ничего дурного, но она мне жалка иногда».

Впоследствии Лиза вышла замуж за флигель-адъютанта Гавриила Павленкова, но семейная жизнь не задалась и супруги расстались. После развода с Павленковым Лиза вторично вышла замуж за своего двоюродного брата, Александра Александровича Берса. Впрочем, и с ним она не была счастлива. Так, в письме к сестре Татьяне от 28 марта 1898 года Софья Андреевна писала: «В Петербурге жила у Лизы. Она была очень добра и ласкова, но скучно у нее ужасно. Дурные отношения с мужем, с прислугой, интересы финансового положения в России, отсутствие всего, что украшает жизнь людей. Всё это довольно тяжело».

Отношения между Лизой и Соней были совершенно непохожи на отношения между Соней и Таней. Взаимная неприязнь так и не исчезла.

Вскоре после смерти Льва Николаевича, 24 января 1911 года, Елизавета Андреевна написала о своей сестре: «Соня болтуня, легкомысленная и может быть у нее есть еще много недостатков, она возбуждала ревность мужа, но она была верной женой и хорошей матерью, и Лев Николаевич жил и не умирал в ее руках... Чувство ревности Л. Н. дало России и всему миру литературное имя выше шекспировского Отелло. Может быть, с более покойной и уравновешенной женой его гений принес бы другое направление, менее яркое и живое».

Глава десятая

ЛОЖКИ ДЕГТЯ В БОЧКЕ МЕДА

«Бывало, холостым, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской жизни не только не могло быть, по его убеждению, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось ему, должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг вместо этого жизнь его с женою не только не сложилась особенно, а, напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь против его воли получали необыкновенную и неопровержимую значительность. И Левин видел, что устройство всех этих мелочей совсем не так легко было, как ему казалось прежде. Несмотря на то, что Левин полагал, что он имеет самые точные понятия о семейной жизни, он, как и все мужчины, представлял себе невольно семейную жизнь только как наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и от которой не должны были отвлекать мелкие заботы. Он должен был, по его понятию, работать свою работу и отдыхать от нее в счастье любви. Она должна была быть любима, и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать. И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и т. п. Еще бывши женихом, он был поражен тою определенностью, с ко-

торую она отказалась от поездки за границу и решила ехать в деревню, как будто она знала что-то такое, что нужно, и, кроме своей любви, могла еще думать о постороннем. Это оскорбило его тогда, и теперь несколько раз ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его. Но он видел, что это ей необходимо. И он, любя ее, хотя и не понимал зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими».

Соня смело взялась за наведение порядка в доме, вдохновенно борясь с царившими вокруг беспорядком и разладом. Состарившаяся, и оттого ставшая еще мягче характером, тетушка Туанет окончательно разбаловала слуг и запустила хозяйство. Ее не смущало даже то, что Лев Николаевич жил истинным спартанцем, поглощая ту еду, которую готовил ему вечно пьяный повар, и привычно обходясь без постельного белья.

«Вообще меня поражала простота и даже бедность обстановки Ясной Поляны, — вспоминала Софья Андреевна. — Пока не привезли моего приданого серебра, ели простыми железными вилками и старыми истыканными серебряными, очень древними ложками. Я часто колола себе с непривычки рот. Спал Лев Николаевич на грязной сафьяновой подушке, без наволоки. И это я изгнала. Ситцевое ватное одеяло Льва Николаевича было заменено моим приданым, шелковым, под которое, к удивлению Льва Николаевича, подшивали тонкую простыню. Просьба моя о ванне тоже была удовлетворена».

Молодую женщину, привыкшую к идеальному порядку родительского дома (ох уж эти педантичные доктора с немецкими корнями!), шокировала сонная блаженная апатия, в которой пребывала многочисленная челядь, околачивающаяся (иначе и не скажешь) в барском доме. Соня была настойчива, внимательна и требовательна, вскоре в Ясной Поляне начали поговаривать

о том, что у молодой хозяйки скверный характер. Слуги вздыхали, поминали добрым словом Татьяну Ергольскую, но — подчинялись. Графиня, несмотря на молодость, умела, как принято говорить в наше время, «себя поставить». Первым делом она надела на всех поваров белоснежные колпаки, затем занялась правильной сервировкой столов, подобающей застилкой постелей, наведением чистоты в доме, приведением в порядок прилегавшей к дому территории... Дел хватало.

Льва Николаевича хозяйственные хлопоты умиляли и раздражали. Он был слишком сложной и противоречивой натурой для того, чтобы однозначно воспринимать даже столь, казалось бы, простые и очевидные вещи. О его отношении к «новому порядку» подробно говорится в «Анне Карениной»: «Она, инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и ненастные дни, вила, как умела, свое гнездо и торопилась в одно время и вить его и учиться, как это делать. Эта мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу Левина возвышенного счастья первого времени, было одно из разочарований; и эта милая озабоченность, которой смысла он не понимал, но не мог не любить, было одно из новых очарований»

Складывалось весьма гармонично — жена управляла домом, а муж — имением. Однажды Льву Николаевичу пришла в голову поистине прекрасная мысль о том, что, избавившись от нерадивых и вороватых управляющих (увы, идеальных управляющих не существовало и в те благословенные времена), он не только существенно увеличит доходы с имения, но и облегчит положение крестьян. Он рассчитал управляющих и, увлеченный передовыми методами ведения хозяйства, взялся за дело. Да и не просто взялся, а окунулся в него с головой. Толстой пытался привлечь к «большому» хозяйству и жену, но потерпел неудачу: «Лев Николае-

вич хотел меня приучить к скотному и молочному делу и водил меня на скотный двор. Я старалась смотреть и считать удои, сбивание масла и прочее. Но вскоре от запаха навоза у меня делалась тошнота и рвота, и меня бледную, шатающуюся уводили домой...»

Гармония, правда, выходила какой-то однобокой. «Неужели, кроме дел денежных, хозяйственных, винокуренных, ничего и ничто его не занимает. Если он не ест, не спит и не молчит, он рыскает по хозяйству, ходит, ходит, все один», — писала в дневнике молодая графиня. «Я ужасался над собой, что интересы мои — деньги или пошлое благосостояние», — в унисон с ней записывал муж.

Весной 1863 года Лев Николаевич страстно увлекся пчеловодством. Купил несколько ульев у Александра Исленьева, деда своей жены, прочитал несколько книг, посвященных этой теме, сам делал рамочные ульи и вообще стал считать пчеловодство главным своим занятием. Разумеется, все окружающие Толстого, и в первую очередь — его жена, были просто обязаны интересоваться пчелами. Графиня Толстая как могла «старалась проникнуться всей значительностью пчелиной жизни», но у нее это получалось плохо.

«В этом увлечении сказалась вся страстная натура Льва Николаевича, — писала Софья Андреевна. — Во всю свою жизнь он увлекался самыми разнообразными предметами: игрой, музыкой, греческим языком, школами, японскими свиньями, педагогикой, лошадьми, охотой — всего не пересчитаешь. Не говорю уж об умственных и литературных увлечениях: они были самые крайние. Ко всему в данный момент он относился безумно страстно, и если ему не удавалось убедить своего собеседника в важности того занятия, которым он был увлечен, он способен был даже враждебно относиться к нему.

Занятия пчелами отвлекали Льва Николаевича от дома и от меня, и я часто скучала и даже плакала в одиночестве. Пойду на пчельник, иногда сама снесу Льву Николаевичу обед, посижу там, иногда пчела меня ужалит, и иду одинокая домой.

Когда в хозяйстве были неудачи, а это было довольно часто, Лев Николаевич приходил в отчаяние и в дурное настроение».

Хозяйственные проекты Льва Толстого, в отличие от литературных, были обречены на неудачу, поскольку бытовым практицизмом и хозяйственной смекалкой граф не отличался. Выписав дорогих (и очень выгодных в перспективе!) японских свиней, Лев Николаевич поручил уход за ними горькому пьянице, надежденному, подобно многим спившимся людям, крайне болезненным самолюбием. Гордая душа страдальца не вынесла «оскорбительного» поручения, и свиньи были намеренно уморены. Небольшой винокуренный заводик, построенный Толстым на паях со своим соседом, помещиком Бибиковым в бибиковском имении Телятинки, просуществовал всего полтора года и канул в Лету, не выдержав конкуренции. Разве что с расширением яблоневого сада Лев Николаевич справился успешно.

Но в целом жизнь в Ясной Поляне, по мнению Софьи Андреевны, установилась правильной, подобающей. По утрам она со всякой домашней работой сидела в кабинете мужа, сидела молча, чтобы не мешать ему писать, затем они отправлялись на прогулку или занимались делами. Если же гулять не получалось, то Софья рисовала, читала или играла на фортепьяно.

События, омрачавшие счастье молодоженов, не могли не найти отражения в художественной хронике их отношений — романе «Анна Каренина»: «Дру-

гое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и женою могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных, и вдруг с первых же дней они поссорились, так что она сказала ему, что он не любит ее, любит себя одного, заплакала и замахала руками.

Первая эта их ссора произошла оттого, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса долее, потому что хотел проехать ближнею дорогой и заблудился».

Семейные ссоры не укладывались в воображаемую схему взаимоотношений супругов, нарисованную Толстым, однако это не означало их отсутствие. Осознав, что его жена может не только иметь свое собственное мнение, но и отстаивать его, что ее выводы и представления совершенно не совпадают с его собственными, Лев Николаевич был озадачен. Неизвестно, какие именно чувства испытал он во время первой ссоры с Софьей Андреевной, но то, что испытал Левин в схожей ситуации, описано детально: «Но только что она открыла рот, как слова упреков бессмысленной ревности, всего, что мучало ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и

желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль.

Никогда он с такою силой после уже не чувствовал этого, но в этот первый раз он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, доказать ей вину ее; но доказать ей вину значило еще более раздражить ее и сделать больше тот разрыв, который был причиною всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на нее перенести вину; другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его. Остаться с таким несправедливым обвинением было мучительно, но, оправдавшись, сделать ей больно было еще хуже. Как человек, в полусне томящийся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место и, опомнившись, чувствовал, что больное место — он сам. Надо было стараться только помочь больному месту перетерпеть, и он постарался это сделать».

«Милые бранятся — только тешатся», — гласит известная поговорка. К чете Толстых она не имела никакого отношения, Лев Николаевич и Софья Андреевна переживали ссоры очень болезненно.

Семейная жизнь задается с первых дней, если оба супруга, пусть и в разной мере, умеют уступать друг другу и способны прощать друг другу то, что лучше поскорее предать забвению. Иначе начало супружества будет похоже на медовый месяц Левина и Кити: «Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминаниях их обоих самым тяжелым и

унизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа, редко бывали сами собою».

«Раз Лев Николаевич мне высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, которую я помнила всю нашу жизнь и другим часто сообщала, — вспоминала много позже Софья Андреевна. — Он сравнивал двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги. Начни сверху их надрывать или надрезать, еще, еще... и две половинки разъединятся совсем.

Так и при ссорах, каждая ссора делает этот надрез чистых и цельных, хороших отношениях супругов. Надо беречь эти отношения и не давать разрываться.

Трудно мне было обуздать себя, я была вспыльчива, ревнива, страстна. Сколько раз после вспышки я приходила к Льву Николаевичу, целовала его руки, плакала и просила прощения.

В его характере этой черты не было. Гордый и знающий себе цену, он, кажется, во всей своей жизни сказал мне только раз “прости”, но часто даже просто не пожалеет меня, когда почему-нибудь обидел меня или замучил какой-нибудь работой. Странно, что он даже не поощрял меня никогда ни в чем, не похвалил никогда ни за что. В молодости это вызывало во мне убеждение, что я такое ничтожество, неумелое, глупое создание, что я все делаю дурно. С годами это огорчало меня, к старости же я осудила мужа за это отношение. Это подавляло во мне все способности, это часто меня заставляло падать духом и терять энергию жизни.

Неужели я так-таки ничего хорошо не делала? А как я много старалась».

Она действительно старалась, старалась изо всех сил, старалась угодить, старалась заслужить похвалу, старалась изменить жизнь мужа в соответствии со своими собственными представлениями.

Однажды, в самом начале замужества, ей это удалось...

«Так называемое самоотвержение, добродетель есть только удовлетворение одной болезненно развитой склонности. Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это. И только то настоящее, которое берет себе девизом: нет в мире виноватых. Кто счастлив, тот прав! Человек самоотверженный слепее и жесточе других». Так Толстой оправдывал свой отказ от былой, в некотором роде самоотверженной, деятельности на пользу народа. Вскоре после женитьбы Лев Николаевич отказался от мысли об обучении крестьянских детей и издании педагогического журнала («Журнал решил кончить, школы тоже — кажется. Мне все досадно и на мою жизнь, и даже на нее»). Причины охлаждения к педагогике было несколько, начиная с того, что педагогический журнал «Ясная Поляна» не вызвал мало-мальски серьезного общественного интереса, и заканчивая тем, что занятия в школах шли с перебоями, поскольку крестьянским детям во время полевых работ учиться было некогда. Но главную роль в этом переломе мировоззрения сыграла Софья Андреевна, ревновавшая мужа не только к смазливим крестьянкам (к тому, надо сказать, у нее были все основания, достаточно вспомнить яснополянскую крестьянку Аксинью, которая была любовницей Толстого в течение трех лет, предшествовавших его женитьбе, и родившую от него сына Тимофея, весьма похожего на отца), но и к «народу» вообще. «Он мне гадок со своим народом, — писала Софья Андреевна на третьем месяце супружества. — Я чувствую, что или я, т. е.

я, пока представительница семьи, или народ с горячей любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь... А если я его не занимаю, если я кукла, если я только жена, а не человек, так я жить так не могу и не хочу».

«Душно» ей было не только в переносном, но и в прямом смысле — учителя нещадно курили в гостиной, а молодая графиня, вдобавок бывшая беременной, совсем не могла выносить табачного дыма. «Сначала я всегда присутствовала при совещаниях Льва Николаевича с учителями школ, но вскоре, сделавшись беременна, я не могла выносить табак, — вспоминала она. — Я вообще всю жизнь его не выносила, и потом Лев Николаевич неоднократно бросал в жизни курить, но снова возвращался к закоренелой своей привычке и только к старости совсем бросил курить».

В то время маленькая гостиная или столовая наполнилась сразу таким дымом от куренья шести мужчин, что у меня темнело в глазах, я убегала, поднималась рвота, и я ложилась у себя в спальне одна, огорченная, что не могу участвовать в интересах и делах Льва Николаевича».

Это была первая победа, одержанная женой над мужем. Первая, заодно ставшая и последней.

В дневниках Толстого, еще накануне свадьбы, Соня прочла слова «Влюблен как никогда!», посвященные Аксинье, и все никак не могла их забыть. Богатое воображение рисовало ей шокирующе сладострастные картины с участием любвеобильного мужа и его любовницы-пейзанки. Молодая графиня не могла спокойно смотреть на Аксинью, то и дело попадавшуюся ей на глаза. «Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности, — написала она в дневнике на третьем месяце замужества. — “Влюблен как никогда!” И просто

баба, толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко. Пока нет ребенка. И он тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая. Ему кататься. Могу ее сейчас же увидеть. Так вот как он любил ее. Хоть бы сжечь журнал его и все его прошедшее».

Приехала — хуже, голова болит, расстроена, а душу давит, давит. Так хорошо, привольно было на воздухе, широко. И думать хочется широко, и дышать широко, и жить. А жизнь такая мелочная. Любить трудно, а любишь так, что дух захватывает, что всю жизнь бы душу положила, чтоб не прошла она ни с чьей стороны. И тесен, мал тот мирок, в котором я живу, если исключить его. А соединить нам мирки наши в один нельзя. Он так умен, деятелен, способен, и потом это ужасное, длинное прошедшее. А у меня оно маленькое, ничтожное... Читала начала его сочинений, и везде, где любовь, где женщины, мне гадко, тяжело, я бы все, все сожгла. Пусть нигде мне не напомнимся его прошедшее. И не жаль бы мне было его трудов, потому что от ревности я делаюсь страшная эгоистка. Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то сделала бы с удовольствием».

Какой смысл убивать, чтобы затем создать нового, точно такого же, ничем не отличающегося от старого? Впрочем, нет — отличающегося, ведь новый, только что созданный, не имел бы в прошлом никаких романов.

Ревность к Аксинье никак не могла угаснуть. Напротив — разгоралась все сильнее и сильнее. Молодая графиня не знала покоя ни днем, ни ночью. «Я сегодня видела такой неприятный сон, — спустя некоторое время писала она в дневнике. — Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские де-

вушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходит откуда-то одна за другой, последняя вышла А. (Аксинья. — А.Ш.) в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребенка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову — все оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла. Я посмотрела, и, в самом деле, вместо тела все хлопки и лайка. И так мне досадно стало. Я часто мучаюсь, когда думаю о ней, даже здесь, в Москве. Прошедшее мучает меня, а не настоящая ревность. Не может он мне отдаться вполне, как я ему, потому что прошедшее полно, велико и так разнообразно, что если бы он теперь умер, то жизнь его была наполнена достаточно. Только не испытал он еще отцовского чувства. А мне теперь вдруг жизнь столько дала, чего я прежде не знала и не испытала, что я хватаюсь за свое счастье и боюсь потерять его, потому что не верю в него, не верю, что оно продолжится, благо, не знала его прежде. Я все думаю, что это случайное, проходящее, а то слишком хорошо. Это ужасно странно, что только один человек своею личностью, безо всякой другой причины, исключая своих личных свойств, мог бы так вдруг взять меня в руки и сделать полное счастье».

«Откровенность» с дневниками аукалась Льву Николаевичу чуть ли не до самой смерти. Совершенно ненужное и неуместное знакомство жены с прошлым мужа наложило отпечаток на всю их семейную жизнь.

Что касается самой Аксиньи, то об истинном отношении к ней Толстого судить трудно. С одной стороны, в его дневниках можно найти: «Влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли», или же: «Уже

не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщения и не могу». С другой стороны, в повести «Дьявол» (несомненно — автобиографической по духу, несмотря на то, что в основу сюжета легла история тульского судебного следователя Фридерихса, который через три месяца после женитьбы на девушке-дворянке застрелил крестьянку, с которой прежде имел связь, после чего бросился под поезд) отношения между главным героем — помещиком Евгением Иртеневым и крестьянкой Степанидой освещены несколько иначе: «Евгению и в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал... Сношения же — он даже не называл это связью — с Степанидой было нечто совсем незаметное. Правда, что когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать. Но это продолжалось недолго: устраивалось свидание, и он опять забывал ее на недели, иногда на месяц... Так у него решено было, что это было нужно для здоровья, он платил деньги, и больше ничего; связи какой-нибудь между ним и ею нет, не было, не может и не должно быть».

Впрочем, все могло начаться чувством мужа к жене, а закончиться «сношениями». Лев Николаевич, как мы уже не раз могли убедиться, был крайне непостоянен в суждениях, чувствах, привязанностях и во всем прочем.

Порывистая, увлекающаяся натура мужа пугала Софью Андреевну. «Страшно с ним жить, — признавалась она, — вдруг народ полюбит опять, а я пропала, потому и меня любит, как любил школу, природу, народ, может быть, литературу свою, всего понемногу, а там новенькое».

«Студенты только тяготят неестественностью отношений и невольной завистью, в которой я их не упрекаю, — писал Лев Николаевич в своем дневнике 8 февраля 1863 года. — Как мне все ясно теперь. Это было увлечение молодости — фарсерство почти, которое я не могу продолжать, выросши большой. Все она. Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня, без сравнения больше, чем я ее. Только не сознательно. Сознательно и я и она бессильны».

В своей неудержимой откровенности Лев Николаевич дошел до того, что дал молодой жене прочесть свою переписку. Столь подобное (и скорее всего — ненужное) знакомство с прошлым мужа начало тяготить Софью Андреевну. Не исключено, что великий писатель попросту ставил эксперимент, желая увидеть, какие чувства при этом могут возникнуть в женской душе. Лев Толстой, подобно всем талантливым писателям, был очень тонким психологом, правда, применял он эти свои способности чаще на бумаге, чем в жизни.

Двойственность мышления, двойственность поведения, двойственность восприятия мира вообще были свойственны Льву Толстому. «Все условия счастья совпали для меня. Одно часто мне недостает (всё это время) — сознания, что я сделал всё, что должен был, для того чтобы вполне наслаждаться тем, что мне дано, и отдать другим, всему, своим трудом за то, что они дали мне», — писал он, имея в виду под «трудом» свою литературную и общественную деятельность и совершенно не заботясь при этом о том, чтобы сделать нечто приятное своей жене.

Но вернемся к знакомству жены с перепиской мужа. В первую очередь Софью Андреевну взволновала нежная приязнь, царившая между Львом Николаевичем и Александрин Толстой, его незамужней двоюродной те-

тушкой, жившей при дворе, в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге в качестве фрейлины великой княгини Марии Николаевны, дочери Николая I и супруги Максимилиана Лейхтенбергского. «Она придворным тетушкам не хочет писать — все чует», — писал Толстой в дневнике вскоре после свадьбы. Под придворными тетушками подразумевались Александрин и ее сестра Елизавета, также бывшая фрейлиной великой княгини Марии Николаевны.

Лишь после долгих, в несколько дней уговоров Софья Андреевна согласилась написать «придворным тетушкам» недлинное и холодное письмо, к которому Льву Николаевичу пришлось приписать несколько теплых строк. «Я бы не оскорбилась тем, что у них была бы переписка в прежнем духе, а мне только грустно бы было, что она подумает, что жена Левы, кроме детской и легких будничных отношений, ни на что не способна. А я знаю, что как бы я ревнива ни была, а Alexandrine из жизни не вычеркнешь, и не надо — она играла хорошую роль, на которую я неспособна... Я бы хотела с ней поближе познакомиться. Сочла бы она меня достойной его?.. Все это время, с тех пор как я прочла письмо Левы к ней, я о ней думала. Я бы ее любила», — напишет Софья Андреевна в дневнике 17 октября 1863 года.

«Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу — она смотрит на меня и любит, — признавался самому себе Лев Николаевич в начале января 1863 года. — И никто — главное, я — не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: Левочка, — и остановится, — отчего трубы в камине проведены прямо, или лошади не умирают долго и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: что нам делать? Соня, что нам делать?»

Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновение ока, у ней и мысль и слово иногда резко: оставь, скучно; через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык, люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное и испуганное, и детское, и страстное лицо, люблю, когда...»

Несколькими днями позже в дневнике Толстого появляется совершенно иная по духу и содержанию запись: «Дома мне с ней тяжело. Верно, незаметно много накопело на душе; я чувствую, что ей тяжело, но мне еще тяжелее, и я ничего не могу сказать ей — да и нечего. Я просто холоден и с жаром хватаюсь за всякое дело. Она меня разлюбит. Я почти уверен в этом. Одно, что меня может спасти, ежели она не полюбит никого другого, и я не буду виноват в этом. Она говорит: я добр. Я не люблю этого слышать, она за это-то и разлюбит меня».

«С женою самые лучшие отношения. Приливы и отливы не удивляют и не пугают меня».

«Изредка и нынче всё страх, что она молода и многого не понимает и не любит во мне, и что много в себе она задушает для меня и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет».

«Мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье. Смерть — и все кончено».

«Два раза чуть не ссорились по вечерам. Но чуть. Нынче ей скучно, тесно. Безумный ищет бури — молодой, а не безумный. А я боюсь этого настроения больше всего на свете».

«Я ее все больше и больше люблю, — писал Толстой в конце марта 1863 года. — Нынче 7-й месяц, и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничи-

тожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею потому, что не смею, не чувствую себя достойным. Я нервно раздражен и потому не вполне счастлив. Что-то мучает меня. Ревность к тому человеку, который вполне стоил бы ее. Я не стою».

Сестра Татьяна отзывалась о Софье Андреевне так: «София никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь в первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему, или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное. Эта черта характера осталась у нее на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем: «И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех, — не то, что я, которая, напротив, в весельи и счастье умеет найти грустное».

В своей записной книжке Софья Андреевна подробно остановилась на том, что она «любит» и что «не любит». Эта запись, к счастью, дошедшая до наших дней, как нельзя лучше помогает понять характер

«Что я люблю:

В душе покой.

В голове мечту.

Любовь к себе людей.

Люблю детей.

Люблю всякие цветы.

Солнце и много света.

Лес.

Люблю сажать, стричь, выхаживать деревья.

Люблю изображать, т. е. рисовать,
фотографировать, играть роль;
люблю что-нибудь творить — хотя бы шить.

Люблю музыку с ограничением.

Люблю ясность, простоту, талантливость
в людях.

Наряды и украшения.

Веселье, празднества, блеск, красоту.

Люблю стихи.

Ласку. Сентиментальность.

Люблю работать производительно.

Люблю откровенность, правдивость...

Что я не люблю:

Вражду и недовольство людей.

Пустоту в душе и мысли, хотя бы временную.

Осень. Темноту и ночь.

Мужчин (за редкими исключениями).

Игру за деньги.

Затемненных вином и пороками людей.

Секреты, неискренность, скрытность,
неправдивость.

Степь.

Разгульные, шумные песни.

Процесс еды.

Не люблю никакого хозяйства.

Не люблю: бездарность и хитрость,
притворство и ложь.

Не люблю одиночества.

Не люблю насмешек, шуток, пародий,
критики и карикатур.

Не люблю праздность и лень.

Трудно переносу всякое безобразие».

Проницательные, наблюдательные и умные люди
нередко грешат излишней самонадеянностью, искажа-
ющей им картину восприятия мира.

«В каждом человеке Лев Николаевич видит тип
цельный, художественно удовлетворяющий его, — пи-
сала Софья Андреевна. — Но если в тип этот случай-
но вкрадется черта характера, нарушающая цельность
типа, Лев Николаевич ее не замечает и не хочет видеть.
Ему укажешь: “А вот ты заметь, этот человек кажется
тебе исключительно занятый умственными интересами,
а он любит всегда сам на кухне готовить...” “Не
может быть”, — отрицает Лев Николаевич. Или: “Ты
поэтизировал такую-то А. А., считал ее высоконрав-
ственной и идеалисткой, а она родила незаконного сына
не от мужа”. Лев Николаевич ни за что не верит и про-
должает видеть то, что раз создало его воображение».

По истечении некоторого времени Софья Андреев-
на поняла, что столь желанная семейная жизнь, су-
лившая освобождение от всеохватной и зачастую, чего
греха таить, мелочной родительской опеки, обернулась
для нее подлинным рабством, полной зависимостью от
человека, который, по ее собственному представлению,
должен был стать ей другом, защитником, наставни-
ком, но никак не властелином. «Гениально талантливый,
умный и более пожилой и опытный в жизни ду-
ховной — он подавлял меня морально», — признавалась
Софья Андреевна и добавляла для полноты картины:
«Мощь физическая и опытность пожившего мужчины
в области любви — зверская страстность и сила — по-
давливали меня физически».

2 июня 1863 года, подводя своего рода итог первых
месяцев, первого этапа семейной жизни, Толстой пи-
сал: «Все это время было тяжелое для меня время фи-
зического и оттого самого собой нравственного тяже-
лого и безнадежного сна. Я думал и то, что нет у меня
сильных интереса или страсти (как не быть? отчего не
быть?). Я думал и что стареюсь, и что умираю, думал,
что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой,

что интересы мои — деньги или пошное благосостояние. Это было периодическое засыпание. Я проснулся, мне кажется. Люблю ее, и будущее, и себя, и свою жизнь».

Дальше Лев Николаевич высказывается с совершенно не присущим ему прежде фатализмом: «Ничего не сделаешь против сложившегося», утешаясь поистине даосской мыслью: «В чем кажется слабость, в том может быть источник силы».

Глава одиннадцатая

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Очень часто с рождением первенца любовь между его родителями усиливается, переходя на качественно новый уровень. До рождения ребенка отношения между мужчиной и женщиной – это отношения двоих людей, которые в той или иной степени сосредоточены друг на друге и вращаются друг вокруг друга. Подобные отношения максимально интимны, но появление ребенка сразу же нарушает эту интимность, вынуждая родителей выстраивать новые отношения. Процесс этот, надо признать, довольно сложен.

Первая Сонина беременность была тяжелой. Страдания будущей матери были не только физическими, хотя их хватало, но и духовными. С одной стороны, беременность не позволяла ей сопровождать мужа на пашку или гулять с ним, а с другой – она чувствовала, что отношение мужа к ней меняется, причем – далеко не в лучшую сторону, и изливала душу в дневнике: «Лева смотрит на эту немощность как-то неприязненно – как будто я виновата, что беременна... Мне невыносимо и физически и нравственно... Я для Левы не существую... Ничего веселого я не могу ему приносить, потому что я беременна».

Время от времени Софью Андреевну охватывала боязнь того, что она может окончательно потерять мужа, родив ребенка. В такие минуты ее охватывало отчаяние, толкавшее будущую мать на совершенно неожиданные поступки. Так, например, возжелав освобо-

диться от ненужной, как ей вдруг представилось, и не просто ненужной, но и опасной для ее семейного счастья беременности, Софья Андреевна начинала бегать в саду, желая спровоцировать выкидыш, но, несмотря на неоднократные попытки, так и не смогла добиться желаемого.

Увы, Соня была по натуре довольно истерична, и это качество только усиливалось во время беременности. Несомненно, Лев Николаевич какое-то время относился к Соне с сочувствием, но чем дальше, тем больше ее настроение, ее поведение, ее состояние начинало тяготить его. Он вообще не выносил слез, тем более вместе с надуманными претензиями и пустопорожней болтовней. Лев Николаевич начал избегать жены, отчего ее страдания только усилились. Страдал и он, чувствуя себя совершенно не готовым к тяготам семейной жизни. «Где я, тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает. Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю. Все писанное в этой книжечке почти вранье — фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду... Должен приписать, для нее — она будет читать, — для нее я пишу не то, что не правда, но выбирая из многого то, что для себя одного я не стал бы писать... Ужасно, страшно, бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство», — писал он в дневнике 18 июня 1863 года.

Писал не столько для себя, сколько для жены — между ними чуть ли не с первых дней супружества было заведено читать дневники друг друга. Надо признать — весьма удобная договоренность, позволяющая довести до сведения другой стороны даже то, что сказать в глаза неудобно или неприлично.

Действительно — попробуй наберись смелости (или — наглости?) заявить женщине, которой ты совсем недавно сделал предложение и которую ты совсем недавно сделал беременной, что ты не хочешь ребенка, который должен вскоре появиться на свет. Другое дело — написать в дневнике: «Ужасно, страшно, бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство». И волки, как говорится, сыты, и овцы целы. А для того чтобы написанное ненароком бы не ускользнуло от внимания супруги, делается необходимая оговорка: «Должен приписать, для нее — она будет читать, — для нее я пишу не то, что не правда, но выбирая из многого то, что для себя одного я не стал бы писать».

Когда у жены начались первые схватки (случилось это ночью 27 июня 1863 года), Толстой стремглав умчался в Тулу за акушеркой, а привезя ее, пребывал подле Софьи Андреевны, ободряя ее и поддерживая. «Было еще несколько схваток, и всякий раз я держал ее и чувствовал, как тело ее дрожало, вытягивалось и ужималось; и впечатление ее тела на меня было совсем другое, чем прежде и до и во время замужества». Рожала Софья Андреевна на том же старинном кожаном диване, на котором появился на свет и сам Лев Николаевич.

Пережитое во время первых родов жены не могло не отразиться в «Анне Карениной»: «И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такою силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить... Прежде, если

бы Левину сказали, что Кити умерла, и что он умер с нею вместе, и что у них дети ангелы, что Бог тут пред ними, — он ничему бы не удивился; но теперь, вернувшись в мир действительности, он делал большие усилия мысли, чтобы понять, что она жива, здорова и что так отчаянно визжавшее существо есть сын его. Кити была жива, страдания кончились. И он был невыразимо счастлив. Это он понимал и этим был вполне счастлив. Но ребенок? Откуда, зачем, кто он?.. Он никак не мог понять, не мог привыкнуть к этой мысли. Это казалось ему чем-то излишним, избытком, к которому он долго не мог привыкнуть».

«Лев Николаевич никогда не брал на руки Сережу. Он радовался, что у него сын, любил его по-своему, но относился к нему с каким-то робким недоумением. Подойдет, посмотрит, покличет его — и только», — вспоминала Софья Андреевна.

Когда волнения были позади, Лев Николаевич вместо положенной радости ощутил подспудное беспокойство. Он никак не мог определить свое отношение к произошедшему и наконец пришел к выводу, что у рождения сына все же есть преимущество, ведь, разрешившись, его жена должна была стать прежней Соней — ласковой, понимающей, покорной.

Вскоре беспокойство переросло в раздражение. «Ее характер портится с каждым днем... — с горечью констатировал Толстой в дневнике. — Правда, что это бывает в то время, как ей хуже; но несправедливость и спокойный эгоизм пугают и мучают меня. Она же слышала от кого-то и затвердила, что мужья не любят больных жен, и вследствие этого успокоилась в своей правоте. Или она никогда не любила меня, а обманывалась. Я пересмотрел ее дневник — затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности. В жизни часто то же. Если это так и все это с ее стороны ошибка — то это

ужасно. Отдать все — не холостую кутежную жизнь у Дюссо и метресок, как другие женившиеся, а всю поэзию любви, мысли и деятельности народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме к своей семье, и на место всего получить заботы кабака, детской присыпки, варенья, с ворчаньем и без всего, что освещает семейную жизнь, без любви и семейного тихого и гордого счастья. А только порывы нежности, поцелуев и т. д. Мне ужасно тяжело, я еще не верю, но тогда бы я не болен, не расстроен был целый день — напротив».

Действительно, вряд ли «заботы детской присыпки» можно сравнить с «поэзией любви, мысли и деятельности народной». Хотя бы потому, что детская присыпка вполне материальна, в отличие от «поэзии любви и т. п.».

«Тяжело мне будет описывать событие рождения моего первого ребенка, событие, которое должно было внести новое счастье в нашу семью и которое вследствие разных случайностей было сплошным страданием, физическим и нравственным... — вспоминала Софья Андреевна. — Няни у нас не было: Лев Николаевич очень строго требовал, чтобы я сама и кормила и ходила за ребенком после того, как уедет акушерка. Я еще повиновалась ему беспрекословно и считала еще тогда все его желания и мысли безусловно непогрешимыми и несомненно хорошими».

Сразу же после родов супруги серьезно поссорились. Лев Николаевич считал, что каждая мать должна кормить своего ребенка самостоятельно, без посторонней помощи и убеждал в том свою жену. Та соглашалась с ним, несмотря на то, что в светском обществе того времени было принято прибегать к услугам кормилиц. Однако кормление оказалось для молодой матери очень болезненным, а развившийся вскоре воспа-

лительный процесс сделал его невозможным. Несмотря на то, что кормить грудью Софье Андреевне запретили врачи, Лев Николаевич пришел в ярость. Как его жена могла осмелиться прибегнуть к медицинскому предлогу, позволяющему ей отказаться от исполнения своих материнских обязанностей? Почему она не хочет исполнять роль матери так, как это делают женщины из народа? К тому же Льву Николаевичу не нравилось, что посторонний мужчина, пусть даже и врач, прикасается к груди его жены — он был ревнив.

«Я падаю духом ужасно, — писала в дневнике Софья Андреевна. — Я машинально ищю поддержки, как ребенок мой ищет груди. Боль меня гнет в три погибели. Лева убийственный...

...Боль усилилась, я, как улитка, сжалась, вошла в себя и решила терпеть до крайности...

...Уродство не ходить за своим ребенком; кто же говорит против? Но что делать против физического бесилия?..

...Поправить дело я не могу, ходить за мальчиком буду, сделаю все, что могу, конечно, не для Левы, ему следует зло за зло, которое он мне делает».

Она все же не выдержала и взяла кормилицу, и тогда Лев Николаевич, в знак протеста, перестал бывать в детской. «Льву Николаевичу не удавалось победить в себе неприязненное чувство к детской с кормилицей и няней... — вспоминала Татьяна Берс. — Когда Лев Николаевич входил в детскую, на его лице проглядывала брюзгливая неприязнь».

«С утра я прихожу счастливый, веселый, и вижу графиню, которая гневается и которой девка Душка расчесывает волосики, и мне представляется Машенька в ее дурное время, и все падает, и я, как ошпаренный, боюсь всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично. Мне дают поцелуи, по при-

вычке нежные, и начинается придиранье к Душке, к тетеньке, к Тане, ко мне, ко всем, и я не могу переносить этого спокойно, потому что все это не просто дурно, но ужасно, в сравнении с тем, что я желаю. Я не знаю, чего бы я не сделал для нашего счастья, а сумеют обмельчить, опакостить отношения так, что я как будто жалею дать лошадь или персик. Объяснять нечего. Нечего объяснять...» — писал в дневнике Лев Николаевич и добавлял, скорее всего не для себя, а для жены: «А малейший проблеск понимания и чувства, и я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я. Верится тому, чего сильно желаешь. И я доволен тем, что только меня мучают».

Придирки Сони к ее младшей сестре Тане были вполне обоснованы. «Сестра Таня слишком втирается в нашу жизнь», — писала в дневнике Соня. И еще писала она во время беременности о поведении мужа: «Он уходил и уезжал от меня, проводя весело время с моей веселой, здоровой сестрой Таней». Таня Берс очень часто наезжала в Ясную Поляну, проводя больше времени со Львом Николаевичем, чем в компании сестры. Она даже охотилась вместе с Толстым — очаровательная, грациозная, юная и не беременная... Можно представить себе те чувства, которые испытывала к чересчур резвой сестре молодая графиня.

Отголоски неладов между супругами докатились и до Москвы. В ответ на жалобные письма дочери Андрей Евстафьевич выступил довольно резко, написав: «Я вижу, что вы оба с ума сошли, и что мне придется к вам приехать, чтобы привести вас в порядок... Перестань дурить, любезная Соня, успокойся и не делай из мухи слона... Будь уверен, мой друг, Лев Николаевич, что твоя натура никогда не преобразуется в мужичью, равно и натура жены твоей не вынесет того, что может вынести Пелагея, отколотившая мужа и целовальника

в кабаке около Петербурга... Ходи, Таня, по пятам за твоей неугомонной сестрицей, брани ее почаще за то, что она блажит и гневит Бога, а Левочку просто валяй, чем попало, чтобы умнее был. Он мастер большой на речах и писаньях, а на деле не то выходит. Пускайка он напишет повесть, в которой муж мучает больную жену и желает, чтобы она продолжала кормить своего ребенка; все бабы забросают его камнями».

«Уже час ночи, я не могу спать, еще меньше идти спать в ее комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда ее слышат, а теперь спокойно, храпит, — писал Толстой вскоре после «отеческого внушения» доктора Берса. — Проснется и в полной уверенности, что я несправедлив и что она несчастная жертва моих переменчивых фантазий, — кормить, ходить за ребенком. Даже родитель того же мнения. Я не дал ей читать своего дневника, но не пишу всего. Ужаснее всего то, что я должен молчать и будировать, как я ни ненавижу и ни презираю такого состояния. Говорить с ней теперь нельзя, а может быть, еще все бы объяснилось».

Далее следует вывод: «Нет, она не любила и не любит меня. Мне это мало жалко теперь, но за что было меня так больно обманывать».

3 августа 1863 года, записав в дневнике очередную порцию претензий к мужу, Софья Андреевна заканчивает так: «Дождь пошел, я боюсь, что он простудится, я больше не зла. Я люблю его. Спаси его Бог». Нельзя с уверенностью сказать, что это было — проявление любви или всего лишь хитрость жены, желающей примирения с мужем? Но тем не менее добрые слова возымели действие — прочитав их, Толстой в раскаянии написал: «Соня, прости меня, я теперь только знаю, что я виноват и как я виноват! Бывают дни, когда живешь как будто не нашей волей, а подчиняешься

какому-то внешнему непреодолимому закону. Такой я был эти дни насчет тебя. И кто же... я. А я думал всегда, что у меня много недостатков и есть одна десятая часть чувства и великодушия. Я был горд и жесток и кому же? — К одному существу, которое дало мне лучшее счастье жизни и которое одно любит меня. Соня, я знаю, что это не забывается и не прощается; но я больше тебя знаю и понимаю всю подлость свою. Соня, голубчик, я виноват, но я гадок... во мне есть отличный человек, который иногда спит. Ты его люби и не укоряй, Соня».

В пылу ссоры, разгоревшейся чуть ли не сразу же по написании этих строк, Толстой пришел в ярость и попытался вычеркнуть их. В самом низу исчерканной страницы сохранилась приписка, сделанная рукой Софьи Андреевны: «Я заслужила эти несколько строк нежности и раскаяния, но в минуту гнева он отнял их у меня, я даже не успела их прочитать».

Лев Николаевич в семейной жизни оказался тираном, не выносящим возражений и не переносящим неповиновения. Жить с таким человеком, разумеется, было тяжело. Конечно же, Софье Андреевне хотелось каким-то образом защититься от деспотизма, противостоять ему, сохраняя за собой пусть и сильно урезанное право на самостоятельность. Она была умной и образованной женщиной, воспитанной в европейских традициях, весьма и весьма далеких от патриархальных традиций времен «Домостроя», предписывающих жене во всем повиноваться своему мужу.

Софья Андреевна нашла оригинальный способ защиты — она примерила на себя роль жертвы, вжилась в нее и, раз подняв знамя жертвенной любви, уже никогда больше не опускала его. Софья Андреевна жертвовала собой убежденно и со вкусом. Надо признать, что она интуитивно избрала наилучшее оружие, про-

тив которого ее муж оказался бессилен. Жертвенная любовь опутывала его по рукам и ногам, сдерживала, сковывала, и не было никакой возможности отделаться от этого навязчивого чувства, нельзя было одолеть его. Воистину, тот, кто добровольно приносит себя в жертву, становится непобедимым.

Время от времени Льва Николаевича станет посещать желание спастись бегством, бежать куда глаза глядят, лишь бы подальше от дома, от семьи, от жены. Однажды, на закате жизни, он решится осуществить свое намерение и покинет Ясную Поляну в поисках долгожданного покоя. Вслед за ним отправится письмо жены, пропитанное той же приторно-вязкой патетикой, которая заполнила весь дом. Дом, когда-то бывший родным, а теперь такой чужой и опостылевший.

«Левочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства, — писала жена. — Левочка, друг всей моей жизни, всё, всё сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка, милый, милый, вернись, ведь надо спасти меня, ведь и по Евангелию сказано, что не надо ни под каким предлогом бросать жену. Милый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой.

Где ты? Где? Здоров ли? Левочка, не истязай меня, голубчик, я буду служить тебе любовью и всем своим существом и душой, вернись ко мне, вернись; ради Бога, ради любви божьей, о которой ты всем говоришь, я дам тебе такую же любовь смиренную, самоотверженную! Я честно и твердо обещаю, голубчик, и мы всё опростим дружелюбно; уедем, куда хочешь, будем жить, как хочешь.

Ну прощай, прощай, может быть, навсегда.

Твоя Соня.

Неужели ты меня оставил навсегда? Ведь я не переживу этого несчастья, ты ведь убьешь меня. Милый, спаси меня от греха, ведь ты не можешь быть счастлив и спокоен, если убьешь меня.

Левочка, друг мой милый, не скрывай от меня, где ты, и позволь мне приехать повидаться с тобой, голубчик мой, я не расстрою тебя, даю тебе слово, я кротко, с любовью отнесусь к тебе.

Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом; а мне одно нужно, нужна твоя любовь, необходимо повидаться с тобой. Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Левочка, я всё ищу тебя и зову. Какое истязание моей душе».

Чьей душе выпало больше истязаний — вопрос спорный и неоднозначный. Однако до этого письма должно пройти еще почти полвека. Пока что, в 1863 году, Софья Андреевна только начинает жертвовать собой во имя «милого друга Левочки».

Покончив с изданием журнала «Ясная Поляна» и отдав издателю «Казачков», Толстой стал думать о новой работе. Он испытывал «силу потребности писать» и поначалу подумывал о второй части «Казачков», но вскоре увлекся мыслью о написании романа о декабристах. Погрузился в чтение материалов, посвященных этому вопросу, ездил в Петербург, чтобы своими глазами увидеть место заключения декабристов и место их казни, искал знакомства с оставшимися в живых декабристами. Толстой очень высоко ценил декабристов как людей, пострадавших за верность своим идеалам, исповедовавших принципы свободы и равенства, стремившихся к свержению деспотической власти, но спустя какое-то время разочаровался в них и решил историю декабристов заменить предысторией — написать

роман о времени, непосредственно предшествовавшем декабрьскому восстанию 1825 года.

Он начал свое повествование с 1805 года, и сделал это не случайно. Знакомясь с прошлым декабристов, Толстой обнаружил, что почти все революционеры участвовали в войне с Наполеоном и что именно во Франции, где они оказались в конце военной кампании, будущие декабристы набрались либеральных идей. Захотелось писать о 1812–1814 годах, эпохе относительно близкой, но в то же время уже далекой. Писать же о том времени, о патриотической войне, закончившейся победой России, в отрыве от позорной войны 1805 года, было невозможно. Толстой так и поступил. Несомненно, на его выбор повлияло и то обстоятельство, что никто из русских писателей до тех пор к этому периоду почему-то не обращался. Первым быть всегда приятно.

«Как только Лев Николаевич начал свою работу, так сейчас же и я приступила к помощи ему, — вспоминала Софья Андреевна. — Как бы утомлена я ни была, в каком бы состоянии духа или здоровья я ни находилась, вечером каждый день я брала написанное Львом Николаевичем утром и переписывала все начисто. На другой день он все перемарает, прибавит, напишет еще несколько листов — я тотчас же после обеда беру все и переписываю начисто. Счесть, сколько раз я переписывала “Войну и мир”, невозможно. Иные места, как, например, охота Наташи Ростовой с братом и ее посещение дядюшки, повторявшего беспрестанно «чистое дело марш», были написаны одним вдохновением и вылились как нечто цельное, несомненное... Иногда же какой-нибудь тип, или событие, или описание не удовлетворяли Льва Николаевича, и он бесконечное число раз переправлял и изменял написанное, а я переписывала и переписывала без конца».

Жена выступала не только в роли переписчицы, но и в роли домашнего советчика, порой превращавшегося в цензора: «Помню, я раз очень огорчилась, что Лев Николаевич написал цинично о каких-то эпизодах разврата красавицы Елены Безуховой. Я умоляла его выкинуть это место; я говорила, что из-за такого ничтожного, малоинтересного и грязного эпизода молодые девушки будут лишены счастья читать это прелестное произведение. И Лев Николаевич сначала неприятно на меня огрызнулся, но потом выкинул все грязное из своего романа...»

Софья Андреевна полностью погрузилась в новую для нее деятельность, имя которой было Служение Гению, и весьма преуспела на этом поприще. Не потому, что была женой писателя, а благодаря своему вдумчивому, равнодушному, трепетному отношению к творчеству мужа. «Часто я спрашивала себя: почему Лев Николаевич такое-то слово или фразу, казавшиеся совершенно подходящими, заменял другими? — писала она. — Бывало так, что корректурные листы, окончательно посланные в Москву для печатания, возвращались и переправлялись; а то телеграммой делалось распоряжение такое-то слово — иногда одно слово — заменить другим. Почему выкидывались целые прекрасные сцены или эпизоды? Иногда, переписывая, мне так жаль было пропускать вычеркнутые прекрасные места. Иногда восстанавливалось вычеркнутое, и я радовалась. Бывало, так вникаешь всей душой в то, что переписываешь, так сживаешься со всеми лицами, что начинаешь сама чувствовать, как сделать еще лучше: например, сократить слишком длинный период; поставить для большей яркости иные знаки препинания. А то придешь с готовой, переписанной работой к Льву Николаевичу, укажешь ему на поставленные мной кой-где в марзанах знаки вопроса и спросишь его, нельзя

ли такое-то слово поставить вместо другого или выкинуть частые повторения того же слова или еще что-нибудь».

На замечания Толстой реагировал по-разному, в зависимости от настроения. «Лев Николаевич объяснял мне, почему нельзя иначе, иногда слушал меня, даже как будто обрадуется моему замечанию, а когда не в духе, то рассердится и скажет, что это мелочи, не то важно, важно общее и т. д.».

Но тем не менее творческий тандем, или, если угодно, симбиоз, сложился наилучшим образом. Он увлеченно творил, а она обеспечивала ему необходимые условия для творчества, освободив от всех забот, помногу раз переписывала написанное и даже занималась редактированием в тех пределах, в которых ей было дозволено это делать.

Глава двенадцатая

НЕУДАЧА С «ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ПЯТЫМ ГОДОМ» И ДОЛГОЖДАННОЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Персонажами нового романа стали реальные люди. Дед по отцу, Илья Андреевич Толстой, стал прообразом Ильи Андреевича Ростова.

Отец, Николай Ильич Толстой, стал Николаем Ростовым.

В образе Веры Ростовской легко узнается Лиза Берс. Сестра Татьяна писала Соне в 1864 году после первого чтения романа «1805 год»: «Вера — ведь это настоящая Лиза. Ее степенность, отношение к нам».

Наташа Ростова появилась на свет благодаря Татьяне Берс и отчасти самой Соне. Сам Толстой признавался, что он смешал Соню с Таней и в результате получил Наташу. До замужества Наташа больше похожа на Таню, а после замужества на Соню, зачастую не на подлинную Соню, а на ту, какой бы хотел ее видеть Лев Николаевич. «Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнила и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка».

Старый князь Николай Болконский буквально списан с князя Николая Волконского, деда Льва Никола-

евича по материнской линии. Да и усадьба Болконских Лысье Горы очень сильно напоминает Ясную Поляну.

Любимая дочь князя — истинный ангел в земном обличье — княжна Марья, олицетворяет собой мать авто-ра Марию Волконскую.

Французская компаньонка M-lle Hénissienne превратилась на страницах романа в M-lle Bourienne.

Федор Долохов, «человек среднего роста, курчавый и с светлыми, голубыми глазами», сочетал в себе черты партизана Ивана Дорохова, дальнего родственника Федора Толстого по прозвищу Толстой-Американец, и партизана Александра Фигнера.

Лихой кавалерист, рубака и азартный игрок Василий Денисов, маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами, во многом похож на поэта-партизана Дениса Давыдова.

В Андрее Болконском довольно легко узнается Сергей Николаевич Толстой.

Принято считать, что у Пьера Безухова не было реального прототипа, но это не совсем верно — Лев Николаевич частично писал Безухова с себя самого.

И случайным ли совпадением стала вот эта характеристика из романа: «Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвованья она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвованья она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других»? Не идет ли речь о Софье Андреевне? Конечно же, Соня, племянница старого графа Ростова, «тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, оттененным длинными ресницами взглядом, густой черной косой, два раза обвивавшею ее голову,

и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных руках и шее», совсем непохожа на Соню Берс, ставшую графиней Толстой, но пассаж о жертвенности бьет, что называется, не в бровь, а в глаз. Соня «щедрa и скупа, застенчива, жива, всегда весела, любима», «ясна, кротка, но недалеко и не судит, молчалива», «восторженность то музыки, то театра, то писатель...». Вообще-то принято считать, что прототипом Сони была Татьяна Ергольская, но почти все образы, созданные Львом Толстым, были в той или иной мере собира-тельными.

26 сентября 1864 года произошло крайне неприятное происшествие. Лев Николаевич отправился верхом (он вообще любил верховую езду) в гости к своему соседу Бибикову. За ним увязались две борзые собаки, по дороге начавшие преследовать зайца. Лев Николаевич, будучи страстным охотником, тоже присоединился к погоне и опрометчиво пустил лошадь по неровному перепаханному полю. Лошадь споткнулась и упала, перебросив седока через голову. Вдобавок на Толстого навалилось тяжелое седло, которое вывихнуло ему правую руку. Он потерял сознание, но вскоре очнулся. Лошадь и собаки к тому времени убежали домой. Пришлось идти около версты до ближайшего шоссе. Рука распухла и отчаянно болела.

Дойдя до шоссе, обессилевший Толстой упал на землю. Проезжавшие мимо мужики подобрали его и отвезли в деревню, к бабке, умевшей вправлять вывихи. Домой Лев Николаевич в таком состоянии ехать не хотел — беременной Софье Андреевне лишние волнения могли только повредить.

Одной бабкой дело не обошлось — по возвращении домой пришлось приглашать врачей из Тулы, но все равно рука оказалась вправленной неудачно. Ограни-

чение подвижности и боль Толстой терпел около двух месяцев, но в конце концов решил ехать в Москву, понимая, что местные врачи ему не помогут.

21 ноября Толстой приехал в Москву. Остановился он по-родственному у Берсов. Поначалу попробовал лечиться ваннами и специальной гимнастикой, но вскоре убедился, что от этого лечения проку нет, и решил на операцию. Решение это пришло к нему в Большом театре, где он слушал оперу Россини «Моисей». Лев Николаевич писал жене, что эта опера пробудила в нем особенную любовь к жизни и придала сил для борьбы за жизнь. Еще Толстой писал, что ему «было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам», которые для него были «все типы» для нового романа.

28 ноября под обезболиванием хлороформом (распространенный в те времена вид наркоза) была произведена операция. Руку заново вывихнули и вернули на свое место. Вопреки опасениям врачей, операция оказалась удачной. После нее Толстой еще две недели пробыл в Москве под врачебным наблюдением, занимаясь своим новым романом.

Первые главы романа были переданы для печати в редакцию журнала «Русский вестник». 29 ноября в письме к Софье Андреевне Толстой писал: «Когда мой портфель запустел и слюнвявый Любимов (секретарь редакции. — А.Ш.) понес рукописи, мне стало грустно, именно от того, за что ты сердиться, что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше».

В Москве Толстой продолжил сбор материалов для работы над романом — рыскал по книжным лавкам в поисках нужных книг, консультировался у университетских профессоров истории, подолгу просиживал в Чертковской и Румянцевской библиотеках, пользовался по протекции тестя Архивом Дворцового ведомства,

расспрашивал знакомых стариков, помнящих события двенадцатого года.

Верной Сони под рукой не было, но ее с успехом заменили сестры Таня и Лиза, которым Толстой, щадя руку после операции, диктовал продолжение романа. Его отношения с Лизой Берс к тому времени наладились, став ровными, дружескими, такими, какими они и были когда-то. То ли Лиза успокоилась, перегорев в душе, то ли поняла, на примере сестры Сони, что рядом со Львом Николаевичем быть счастливой невозможно, и радовалась про себя счастливому избавлению.

Толстой и к свояченицам относился словно к нанятым секретарям. «Я как сейчас вижу его, — более чем через полвека вспоминала Татьяна, — с сосредоточенным выражением лица, поддерживая одной рукой свою больную руку, он ходил взад и вперед по комнате, диктуя мне. Не обращая на меня никакого внимания, он говорил вслух:

— Нет, пошло, не годится!

Или просто говорил:

— Вычеркни.

Тон его был повелительный, в голосе его слышалось нетерпение, и часто, диктуя, он до трех-четырех раз изменял то же самое место. Иногда диктовал он тихо, плавно, как будто что-то заученное, но это бывало реже, и тогда выражение его лица становилось спокойное. Диктовал он тоже страшно порывисто и спеша».

Без «порыва» дело не ладилось. «Нынче поутру около часу диктовал Тане, но не хорошо — спокойно и без волнения, а без волнения наше писательское дело не идет», — писал Толстой жене в декабре 1864 года.

Долгая разлука пошла на пользу отношениям между супругами. Будучи в Москве, Лев Николаевич практически ежедневно обменивался письмами с Софьей Андреевной.

Уже в первом письме от 22 ноября Софья Андреевна спешила признаться: «Всё думала о том, что я очень счастливая благодаря тебе, и что ты мне много хорошего внушил... А как нам хорошо было последнее время, так счастливо, так дружно, надо же было такое горе (имелся в виду случай с падением. — А.Ш.). Грустно без тебя ужасно, и всё приходит в голову: его нет, так к чему все это? Зачем надо всё так же обедать, зачем так же печи топятся и все суетятся, и такое же солнце яркое, и та же тетенька, и Зефироты (так с подачи Льва Николаевича звали его любимых племянниц, дочерей сестры Марии. — А.Ш.) и всё».

В ответ Толстой писал: «За обедом позвонили — газеты, Таня все сбежала, позвонили другой раз — твое письмо. Просили у меня все читать, но мне жалко было давать его. Оно слишком хорошо, и они не поймут, и не поняли. На меня же оно подействовало как хорошая музыка: и весело, и грустно, и приятно — плакать хочется».

Столь же важное значение имели и письма мужа для Софьи Андреевны. «Твоим духом на меня повеет, когда прочту твое письмо, и это меня много утешит и оживит», — писала она.

2 декабря, продиктовав письмо к жене Татьяне Берс, Толстой собственноручно, невзирая на то, что на пятый день после операции рука слушалась его плохо, приписал внизу: «Прощай, моя милая, душечка, голубчик. Не могу диктовать всего. Я тебя так сильно всеми любовями люблю все это время, милый мой друг. И чем больше люблю, тем больше боюсь».

И получил в ответ столь же нежное: «Сейчас привезли твое письмо, милый мой Лева. Вот счастье-то мне было читать твои каракульки, написанные больной рукою. Всеми любовями, а я-то уж не знаю, какими я тебя люблю любовями».

В следующем письме к жене Толстой признавался, что время своего жениховства любил ее «совсем иначе, чем теперь», и философски добавлял: «Этим-то и премудро устроено, а любить всё одинаким образом надоело бы». Но хорошо зная как себя, так и супругу свою, он с горькой иронией добавляет: «Ведь как, кажется, теперь я был бы счастлив с тобою; а приедешь, пожалуй, будем ссориться из-за какого-нибудь горошку».

Это уж точно, обычно для доброй ссоры любящим супругам и горошек был не нужен. Хватало одного слова, взгляда или даже мысли о том, чего не было, но что могло бы быть. Ведь сказано: «Просите, и дано будет вам; ищите, и обрящете; стучите, и отворят вам» (*Матф, 7:7*). В народе говорится немного иначе и гораздо грубее, но тем не менее очень точно: «Свинья грязи найдет».

Кстати говоря, Софью Андреевну сильно обижала привычка мужа объяснять ее плохое настроение чисто физиологическими причинами, не видя в том никогда своей вины. Лев Николаевич был убежден в том, что он любит свою жену гораздо больше, чем она любит его: «Прощай, милая моя, друг. Как я тебя люблю и как целую. Всё будет хорошо, и нет для нас несчастья, коли ты меня будешь любить, как я тебя люблю». Или же вот: «Только ты меня люби, как я тебя, и все мне нипочем и все прекрасно».

Заботясь о совершенствовании любимого человека, Толстой никогда не упускал случая указать Софье Андреевне на ее недостатки, причем далеко не всегда делал это деликатно. Так, сравнивая жену с тещей, Толстой находил, что они очень схожи характерами, и сообщал Софье Андреевне: «Даже нехорошие черты у вас одинаковы. Я слушаю иногда, как она с уверенностью начинает говорить то, чего не знает, и утверждать положительно и преувеличивать, и узнаю тебя». И тут же

добавлял капельку меда, желая смягчить и подсластить упрек: «Но ты мне всячески хороша... Какая ты умница во всем том, о чем ты захочешь подумать». Также Толстой считал, что у жены его, в точности так же, как и у ее матери, «ум спит», подмечал в обоих «равнодушные к умственным интересам», с оговоркой, что равнодушие это представляет собой «не только не ограниченность, а ум, и большой ум». Сложно уяснить, что именно подразумевал Толстой под этим «равнодушием к умственным интересам» при наличии «большого ума».

Льва Николаевича часто задевали суждения Софьи Андреевны о его произведениях. Совершенно не вникая в военно-историческую часть романа «1805 год», Софья Андреевна пыталась убедить Толстого в том, что у него «всё военное и историческое выйдет плохо, а хорошо будет другое — семейное, характеры, психологическое». Также Софья Андреевна выражала недовольство многократными и зачастую, как ей представлялось, совершенно не обоснованными переработками написанного. Толстой мог даже на словах согласиться с мнением своей жены, чтобы избежать нудного и слезливого выяснения отношений, до которых Софья Андреевна была большая охотница, но на деле всегда поступал по своему.

Лев Николаевич отчего-то считал, что его жена не умеет понимать и ценить музыку, и пытался привить ей подобающий вкус. Софья Андреевна, как могла, пыталась бороться с этим своим недостатком, скорее всего — мнимым. В одном из писем она докладывала мужу, что под влиянием игры его сестры, Марии Николаевны, она вдруг перенеслась из своего реального мира в иной мир, «где всё другое». «Мне даже страшно стало, — писала Софья Андреевна, — я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувс-

твовались при звуках музыки, при виде природы и при всем, чего ты не видел во мне, за что иногда тебе было досадно... Я всегда раскаивалась, что мало во мне понимания всего хорошего... Шуберта мелодии, к которым я бывала так равнодушна, теперь переворачивают всю мою душу...»

«Я теперь все собираюсь серьезно музыкой заняться... Так мне хочется во всем решительно быть ему приятной, да плохо удастся. Он все хочет, чтобы я гуляла, а мне лень. Да это легко, сегодня я уж много ходила, а музыка — это трудно», — писала Софья Андреевна сестре Тане.

В первых двух выпусках «Русского вестника» за 1865 год была опубликована первая часть нового произведения Льва Толстого, озаглавленная «Тысяча восемьсот пятый год». Эта часть соответствовала первой части первого тома «Войны и мира».

Теперь Лев Николаевич окончательно почувствовал себя писателем. 23 января 1865 года он полусерьезно писал Фету: «А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я — литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор». «Уединенный» следовало понимать в смысле «не такой, как все». Толстой всю жизнь стремился выделиться из толпы, встать наособицу.

«На днях выйдет первая половина 1-й части “1805 года”, — пишет дальше Лев Николаевич. — Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение да еще мнение человека, которого я не люблю, тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого — Тургенева. Он поймет.

Печатанное мною прежде я считая только пробой пера и о{реховых} ч{ернил}; печатаемое теперь

мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет — беда!!! Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, а то ругательства расстраивают ход этой длинной сосиски, которая у нас, нелириков, так туго и густо лезет».

Завершается это письмо неожиданным признанием: «Я рад очень, что вы любите мою жену, хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете — жена. Ходит. Кто такой? Жена».

Как трогательно: «хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете — жена!» В одну фразу Лев Николаевич ухитрился вместить и свое отношение к творчеству, и свое отношение к Софье Андреевне.

Первая часть романа была встречена публикой весьма прохладно, но Толстого это не смутило — он решил продолжать работу. Зная свое вечное непостоянство, он заставил себя работать над романом ежедневно, постепенно втянулся в работу, и дело, что называется, пошло.

Условия для работы были самые благоприятные — уединенная деревенская жизнь, спокойствие, любовь. 10 апреля 1865 года Толстой писал в дневнике: «Соню очень люблю, и нам так хорошо!» — и почти то же самое писал 26 сентября, по возвращении от Мити Дьякова из его имения Черемошня: «Мне очень хорошо. Вернулись с Соней домой. Мы так счастливы вдвоем, как, верно, счастливы один из миллиона людей».

В письме к сестре Тане, написанном 28 декабря 1865 года, Софья Андреевна радостно сообщает: «Левочка более, чем когда-либо, нравственно хорош, пишет, и такой он мудрец, никогда он ничего не желает, ничем не тяготится, всегда ровен, и так чувствуешь,

что он вся поддержка моя, и что только с ним я и могу быть счастлива».

Постепенно у Толстого проявляется чувство любви к своим маленьким детям. 23 января 1865 года он писал тетушке Александре Толстой: «Сереза только начал ходить один, и только теперь вся та игра жизни, которая до сих пор еще была не видна для моих грубых мужских глаз, начинает мне быть понятна и интересна». 7 марта он записал в дневнике: «Сереза очень болен, кашляет. Я его начинаю очень любить. Совсем новое чувство». 5 июля Толстой пишет тетушке Александре Андреевне о том, что по отношению к Серезе: «...с каждым днем у меня растет новое для меня, неожиданное, спокойное и гордое чувство любви».

Изменение поведения мужа отмечает и Софья Андреевна, которая сообщала сестре Тане: «Сереза бегают, пляшет, начинает говорить. Левочка к нему стал очень нежен и всё с ним занимается...» Однако Софью Андреевну огорчало равнодушие мужа к их дочери. «На Таню он даже никогда не глядит, мне и обидно и странно», — писала она в том же письме, но вскоре отношение Толстого к дочери изменилось в лучшую сторону, и вот уже Софья Андреевна пишет Тане, что: «Левочка просто по ней (по дочери. — А.Ш.) с ума сходит» и что «Таня в ужасной дружбе с отцом».

Толстой после женитьбы, пусть даже и не сразу, изменился внутренне — стал более спокойным, уравновешенным, на время отставил в сторону свои вечные и очень мучительные искания и сомнения. О перемене, случившейся с ним, Лев Николаевич не раз писал Александре Толстой. Вот отрывок из письма, датированного 23 января 1865 года: «Помните, я как-то раз вам писал, что люди ошибаются, ожидая какого-то такого счастья, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а все идет ровно и счастливо (Толстой воспомина-

ет одно из писем, написанных в октябре 1857 года. — А.Ш.). Я тогда ошибался. Такое счастье есть, и я в нем живу 3-й год. И с каждым днем оно делается ровнее и глубже. И матерьялы, из которых построено это счастье, самые некрасивые — дети, которые (виноват) ма-раются и кричат, жена, которая кормит одного, водит другого и всякую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага и чернила, посредством [которых] я описываю события и чувства людей, которых никогда не было... Нынешнюю зиму мы особенно хорошо проживаем... Я страшно переменялся с тех пор, как женился, и многое из того, что я не признавал, стало мне понятно и наоборот».

«А как переменяешься от женатой жизни, — писал Толстой тетушке спустя полгода, 5 июля, — я никогда бы не поверил. Я чувствую себя яблоней, которая росла с сучками от земли и во все стороны, которую теперь жизнь подрезала, подстригла, подвязала и подперла, чтобы она другим не мешала и сама бы укоренялась и росла в один ствол. Так я и расту; не знаю, будет ли плод и хорош ли, или вовсе засохну, но знаю, что расту правильно».

Письмо Толстого к Александре Андреевне от 14 ноября 1856 года: «Я вошел в ту колею семейной жизни, которая, несмотря на какую бы то ни было гордость и потребность самобытности... ведет по одной битой дороге умеренности, долга и нравственного спокойствия. И прекрасно делает! Никогда я так сильно не чувствовал всего себя, свою душу, как теперь, когда порывы и страсти знают свой предел».

Пока муж работал, Софья Андреевна занималась хозяйством и детьми — в октябре 1864 года она родила второго ребенка — дочь Татьяну. Несмотря на то, что отношения между супругами установились самые приятные и приятные, одно обстоятельство сильно до-

саждало Софье Андреевне. Жене не нравилось все усиливающееся сближение ее мужа с ее младшей сестрой.

Поводы для ревности были — по мере взросления Таня становилась все красивее и привлекала к себе все больше внимания, преимущественно мужского. На Льва Николаевича она воздействовала словно глоток крепкого вина — в ее присутствии он неизменно становился весел и разговорчив. Если Таня пела, аккомпанируя себе на фортепьяно, Толстой бросал все дела и слушал, слушал, слушал...

В Таню невозможно было не влюбиться, настолько она была хороша, мила и обаятельна. Афанасий Фет, попав, подобно многим, под Танино очарование, посвятил ей чудесное стихотворение «Сияла ночь. Луной был полон сад...»:

*Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.*

*Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.*

*И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь,*

*Что нет обид судьбы и сердца глухой муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только верить в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!*

Толстой испытывал к Тане не только человеческий, но писательский интерес — ведь под его пером Таня становилась Наташей Ростовской.

«На Таню сердита, она втирается слишком в жизнь Левочки, — писала Софья Андреевна в дневнике 3 мая 1865 года. — В Никольское, на охоту, верхом, пешком. Вчера прорвалась в первый раз ревность. Нынче от нее больно. Я ей уступаю лошадь и считаю это хорошо с моей стороны, к себе всегда снисходителен слишком. Они на тяге в лесу одни. Мне приходит в голову бог знает что».

Глава тринадцатая

ТАТЬЯНА

Для маленькой Танечки Берс Лев Николаевич был взрослым, если не старым. По мере взросления самой Тани разница в возрасте стиралась и вскоре стала совершенно незаметной. «Какая счастливая звезда загорелась надо мной или какая слепая судьба закинула меня с юных лет и до старости прожить с таким человеком, как Лев Николаевич! — напишет под конец своей жизни Татьяна Андреевна. — Зачем и почему сложилась моя жизнь? Видно, так нужно было. Много душевных страданий дала мне жизнь в Ясной Поляне, но много и счастья. Я была свидетельницей всех ступеней переживания этого великого человека, как и он был руководителем и судьей всех моих молодых безумств, а позднее — другом и советчиком. Ему одному я слепо верила, его одного я слушалась с молодых лет. Для меня он был чистый источник, освежающий душу и исцеляющий раны...»

В нее были влюблены многие, в том числе друг и тезка брата Саши — Александр Кузминский, состоявший с Берсами в дальнем родстве, «узкий, длинный, с легкой походкой». Он был влюблен в нее чуть ли не с самого детства и, несмотря на частые смены Таниного настроения, всегда верил в то, что когда-нибудь она станет его женой. И верил не напрасно...

Кстати говоря, Кузминского Лев Николаевич недолго любил, втайне ревнуя к нему Таню и считая, что Александр недостойн Татьяны. В «Войне и мире» он изобразил Кузминского в образе Бориса Друбецкого

го, «высокого белокурого юноши с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица», но на деле — расчетливого карьериста и вообще человека неприятного, если не отталкивающего. Был ли Кузминский именно таким, или же Лев Николаевич относился к нему предвзято, сейчас уже и не узнать, но точно известно одно — мужем он оказался хорошим, чутким и терпеливым.

Впервые Таня влюбилась по-настоящему, со всей силой молодой порывистой души в красавца Анатоля Шостака, с которым она познакомилась в Петербурге, куда приехала с отцом, Андреем Евстафьевичем. Влюбилась так, что совершенно потеряла голову.

Анатоль был не только хорош собой, но и галантен. Его комплименты заставляли Танино сердце замирать от восторга. «Вы прелестны!» — то и дело повторял он, добавляя к этим словам какую-нибудь милую чепуху.

Однажды влюбленный Анатоль явился вслед за Таней в Ясную Поляну, где уже гостил Кузминский. Можно представить, как накалилась обстановка в имении.

Благодаря знакомству с Толстым, Анатоль Шостак обрел бессмертие на страницах «Войны и мира», где он выведен под именем Анатоля Курагина, младшего сына князя Василия. Разумеется, Курагин выписан несимпатичным, иначе и быть не могло. «Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль — беспокойный», — говорит о нем родной отец. Составляя характеристику на Анатоля, Толстой отметил: «Он, как красивая кукла, ничего нет в глазах». Красавчик Анатоль убежден в том, что весь мир создан для его удовольствий, «он был инстинктивно убежден в том, что ему нельзя было жить иначе, чем он жил», что он «должен жить в тридцать тысяч дохода и занимать всегда высшее положение в обществе».

«Наташа посмотрела по направлению глаз графини Безуховой и увидела необыкновенно красивого адъютанта, с самоуверенным и вместе учтивым видом подходящего к их ложе. Это был Анатоль Курагин, которого она давно видела и заметила на петербургском бале. Он был теперь в адъютантском мундире с одной эполей и аксельбантом. Он шел сдержанной, молодецкой походкой, которая была бы смешна, ежели бы он не был так хорош собой и ежели бы на его прекрасном лице не было бы такого выражения добродушного довольства и веселья. Несмотря на то, что действие шло, он, не торопясь, слегка побрякивая шпорами и саблей, плавно и высоко неся свою надушенную красивую голову, шел по наклонному ковру коридора. Взглянув на Наташу, он подошел к сестре, положил руку в облитой перчатке на край ее ложи, потряхнул ей головой и, наклонясь, спросил что-то, указывая на Наташу».

Толстой мастерски показал контраст внешней красоты Анатоля с его отталкивающей безнравственностью и бездуховностью, его внутренней пустотой. Дурные качества Анатоля наиболее ярко проявляются во время его ухаживания за Наташей Ростовой, в бытность ее невестой Андрея Болконского. По неопытности Наташа сочла Анатоля олицетворением свободы, не понимая в наивной чистоте своей, что эта свобода является не чем иным, как свободой от предначертаний дозволенного, от ограничений допустимого. Любовь Наташи к Анатолю — это не любовь, а наваждение, можно даже сказать — болезнь. Именно таким виделось Льву Николаевичу чувство Татьяны Берс к Анатолю Шостаку.

Кузминский ревновал, Лев Николаевич сердился и упрекал Татьяну в ветрености, но Татьяне в то время не было до них никакого дела — красавец Анатоль на какое-то время завладел ее сердцем. «Почему он так завладел мной? — удивлялась она. — Когда я с ним,

мне и хорошо, и страшно. Я боюсь его и не имею сил уйти от него. Он мне ближе всех! Господи, помилуй и спаси меня!»

Вскоре Анатолий признался Татьяне в любви, но она не осмелилась принять его предложение. Чувствуя, что дело заходит слишком далеко, забеспокоилась сестра Соня, убедившая мужа под благовидным предлогом (предстоящие роды) сплавить Анатолия восвояси.

В следующий раз Таня встретила с ним через пятнадцать с лишним лет. Изящный молодой повеса обрюзг, поблек и превратился в почтенного отца семейства. Татьяна долго прислушивалась к себе — не шелухнется ли в душе отголосок былого чувства, но так ничего и не почувствовала. В одну и ту же воду действительно нельзя войти дважды.

Учитывая, что Таня подолгу гостила в Ясной Поляне, отец препоручил ее заботам Льва Николаевича: «Насчет Татьянки делайте как знаете, но вы вряд ли ее удержите от разных безумств, — писал Андрей Евстафьевич зятю. — Я потерял к ней всякую веру. Она проучила меня в Петербурге. Голова набита разными глупыми грезами... Я прошу тебя серьезно, мой добрый друг Лев Николаевич, принять ее в руки; тебя послушает она скорее всего, почитай ей мораль. Вам все кажется, что это не нужно, а я говорю вам, что это необходимо; вы поверьте мне. Веселость в девице всегда приятна и уместна, но ветреность и верченость не красят девицу, а, наоборот, делают ее несчастие...»

Андрей Евстафьевич не догадывался, да и не мог догадываться, какое ужасное испытание ждет Таню в Ясной Поляне...

Испытанием этим оказалась любовь. Страстная, самоотверженная и несчастная. Любовь, которая надломилась Таню, любовь, от которой она так и не смогла

полностью оправиться на протяжении всей своей жизни.

С течением времени Таня постепенно забыла Анатоля, тем более что любовь к нему была страстной, сильной, но довольно поверхностной. Однако ее сердце, изведавшее вкус любви, ждало большого, по-настоящему глубокого чувства.

Этим чувством оказалась любовь к брату Льва Николаевича Сергею, которого сам Лев Николаевич очень любил, утверждая, что: «Сереза — исключительный человек, это — тонкий ум в соединении с поразительной искренностью». Сергей Николаевич уже около пятнадцати лет жил с красивой цыганкой Машей, выкупленной им из табора, и имел от нее детей, но жил он невенчанным и оттого казался Тане свободным. В своем наивном юношеском максимализме Таня признавала только узы церковного брака, отношения, не освященные Богом, были для нее чем-то эфемерным. Будь Сергей Николаевич женат, Таня, конечно же, не позволила бы их роману разгореться, но цыганка-сожительница вместе со своими, формально незаконными, детьми остановить ее не могла.

Новое увлечение Тани обеспокоило Льва Николаевича куда больше прежнего. С возрастающим беспокойством наблюдал он за развитием отношений, изначально обреченных на крах. Он любил и брата, и Таню (неизвестно — кого из них больше), признавая, что «оба хорошие люди, и оба красивые и добрые; стареющий и чуть не ребенок», но понимал, что из этого чувства ничего хорошего выйти не может. Мешала разница в возрасте, мешали обязательства Сергея Николаевича перед Машей и детьми, мешало общественное мнение... Таня была молода и много не понимала, а Сергей Николаевич («седина в бороду — бес в ребро»), казалось, не хотел ничего понимать. «Сере-

же надо уехать. Туман у него в голове...» — писал Лев Николаевич.

Сергей Николаевич сделал Тане предложение, но оговорил, что намерен отложить свадьбу на год, давая семнадцатилетней Тане возможность проверить свое чувство, а себе — время для «устройства дел».

Согласно довольно распространенной версии, на момент предложения Таня якобы ничего не знала о семейных обстоятельствах Сергея Николаевича, то есть не знала о существовании у него давней сожительницы и детей от нее. Эта версия не выдерживает критики, так как Толстые и Берсы хорошо знали друг друга и скандальная история с выкупом цыганки из табора со всеми вытекающими подробностями никак не могла миновать Таниных ушей. Да и вряд ли Соня, знавшая о Маше и ее детях, стала бы скрывать эти сведения от Тани. Скорее всего она предостерегла бы сестру при первых проявлениях интереса к Тане со стороны Сергея Николаевича.

Вскоре после того Сергей Николаевич, предвкушая грядущее блаженство, отбыл в свое имение Пирогово, расположенное в соседней Курской губернии, чтобы уговорить сожительницу расстаться по-хорошему. В его отсутствие Таню, оставшуюся в Ясной Поляне, развлекал Лев Николаевич. Делал он это, как уже было сказано, к вящей досаде Софьи Андреевны, не находившей себе места от ревности.

Известно, что Льву Николаевичу Таня очень нравилась. Чувство это было взаимным — Таня с удовольствием проводила время в компании Толстого. Правда, о глубине их взаимной приязни мы можем только догадываться — ни он, ни она, ни кто другой не оставили никаких свидетельств того, что между Львом Толстым и Татьяной Берс было нечто более значимое, чем обычная дружба. Однако косвенным свиде-

тельством того, что Лев Толстой был влюблен в свою свояченицу и воображение рисовало ему картины их совместной жизни, может стать женитьба Пьера Безухова, имеющего много общего со Львом Николаевичем, на Наташе Ростовой, основным прототипом которой была Таня. Вообще, судьба Наташи во многом схожа с Таниной судьбой. Здесь и несостоявшаяся свадьба с Андреем Болконским (Сергеем Николаевичем Толстым), и недолгий роман с Анатолом Курагиным (Анатолом Шостаком), и много чего еще. Так почему бы не предположить, что выход замуж за Пьера не имел некоторой привязки к реальности, пусть даже привязки, существовавшей только в душе автора «Войны и мира»?

Сергей Николаевич приезжал, обнадеживал и уезжал снова. Дома его ждали дела — Маша готовилась родить четвертого ребенка.

В мае 1864 года Сергей Николаевич приехал в Ясную Поляну с желанием обвенчаться как можно скорее. Андрей Евстафьевич скрепя сердце, дал согласие на брак, но сам на предстоящем бракосочетании присутствовать не намеревался, приличия ради сославшись на какие-то дела. Он благоразумно советовал Тане и Сергею Николаевичу венчаться тихо, без лишней помпы, опасаясь возможного скандала со стороны сожительницы жениха.

Софья Андреевна предстоящий брак одобряла и даже немного покровительствовала ему. «Третьего дня все решилось у Тани с Сережей, — записала она в дневнике 9 июня 1865 года. — Они женятся. Весело на них смотреть, а на ее счастье я радуюсь больше, чем когда-то радовалась своему... Свадьба через 20 дней или больше...»

До свадьбы дело так и не дошло. Сергей Николаевич все никак не мог порвать со своим «прошлым». Если в

Ясной Поляне он не представлял своего будущего без Тани, то, возвращаясь домой, в Пирогово, не мог собраться с духом и заявить Маше, что между ними все кончено. Месяцем позже в дневнике Софьи Андреевны появилась сердитая запись: «Ничего не сделалось. Сережа обманул Таню. Он поступил как самый подлый человек... Все, что я буду в состоянии мстить ему, я буду стараться».

Таня с горя уехала в Москву к родителям. Вскоре туда же на операцию по поводу вывиха правой руки приехал Лев Николаевич.

Отношения Тани и Сергея Николаевича зашли в тупик. Обе стороны никак не могли сделать последний шаг навстречу своему не то мнимому, не то явному счастью.

В начале января 1865 года Таня получила письмо от Льва Николаевича: «Как я смотрю на ваше будущее? Сережа сказал раз: “Надо все кончить так или иначе, женившись на Маше или на Тане”. Я жалею Машу больше тебя по рассудку, но, женившись на Маше, он, пожалуй, погубит и ее и себя... Я ничего не знаю и ничего определенного для вас не желаю, хотя люблю вас обоих всеми силами души. Что для вас обоих будет лучше, знает один Бог. В душе перед Богом тебе говорю, я желаю — да, но боюсь, что — нет... Прощай. Молись Богу, это лучше всего...»

Не в силах найти верное решение, Таня обратилась за советом к матери. Любовь Александровна, явно давно ожидавшая этого, посоветовала дочери отказать Сергею Николаевичу, утверждая, что на чужом несчастье собственного счастья не построишь. Таня послушалась и в тот же день написала любимому короткое письмо: «Сергей Николаевич! Я получила письмо от Левойчки. Оно многое открыло мне, чего я прежде не знала. Может быть, и не хотела бы знать. Оно за-

ставило меня возвратить вам ваше слово. Вы свободны! Будьте счастливы, если можете».

Несомненно, ее задела фраза «Надо все кончить так или иначе, женившись на Маше или на Тане». Как можно было сравнивать ее со своей сожительницей?

«Вы дали нищему миллион, а теперь отнимаете его!» — написал в расстройстве Сергей Николаевич, но в глубине души он скорее всего был рад тому, что все наконец-то разрешилось. Ведь при любом исходе дела, в любом случае Сергей Николаевич оставался «в выигрыше» — или с Машей и детьми, или с Таней.

Тане пришлось гораздо хуже — она потеряла Любовь, хуже того — была вынуждена сама отказаться от нее. Несчастливая девушка попыталась покончить с собой, отравившись квасцами, но, к счастью, осталась жива.

Узнав о том, что Таня отказала его брату, Лев Николаевич восхитился ее поступком. Он писал Берсам о Тане: «Я всегда не только любовался ее веселостью, но и чувствовал в ней прекрасную душу. И она теперь показала ее этим великодушным поступком, о котором я не могу ни говорить, ни думать без слез. Он виноват кругом, и не извиним никак... Мне было бы легче, ежели бы он был чужой и не мой брат. Но ей, чистой, страстной и энергической натуре, больше делать было нечего. Стоило ей это ужасно, но у нее есть лучшее утешение в жизни — знать, что она поступила хорошо».

Танина жизнь продолжалась, и тут очень кстати пришелся Александр Кузминский. Верный, надежный, любящий. 24 июля 1867 года Татьяна вышла за него замуж. Посаженым отцом был Лев Толстой.

Не обошлось без трагикомического совпадения, отправившись к священнику для того, чтобы назначать срок венчания, Татьяна и Александр встретили недале-

ко от Тулы на проселочной дороге Сергея Николаевича и Машу, ехавших по тому же делу.

Перед самой свадьбой Татьяна, явно находясь под влиянием подобного поступка Толстого, дала прочесть жениху свой дневник, в котором с предельной откровенностью были описаны ее взаимоотношения с Сергеем Николаевичем Толстым. Из-за этого глупого и даже в какой-то мере жестокого поступка свадьба чуть было не расстроилась, но в конце концов все уладилось. Помог Лев Николаевич, который на самом деле мечтал видеть Таню женой своего друга Мити Дьякова, незадолго перед тем овдовевшего. Дьякову Таня очень нравилась, а вот он ей — нет.

Спустя много лет сын Льва Николаевича Илья писал: «Взаимные чувства дяди Сережи и тети Тани никогда не умерли. Им удалось, может быть, заглушить пламя пожара, но загасить последние его искры они были не в силах». Ревновал жену ко всему семейству Толстых разом и Кузьминский, их семейная жизнь вообще была далеко не безоблачной.

Отношения с Толстыми Татьяна поддерживала всю жизнь, но с Сергеем Николаевичем, пока тот был жив, предпочитала не встречаться. Она стала автором очень интересных воспоминаний о семье Толстых, занявшей столь большое место в ее жизни.

«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оленными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках». Детский портрет Наташи Ростовской полностью списан с Тани Берс.

Глава четырнадцатая

НАДЛОМ

Год 1867 выдался непростым.

Критической точки достигла работа над «Войной и миром», были закончены в черновом варианте (ох уж эти вечные толстовские правки!) три тома романа и начат четвертый, по мнению автора — последний.

В январе Лев Николаевич писал художнику Башилову, работавшему над иллюстрациями к «Войне и миру», о том, что работа над романом «хорошо и довольно быстро подвигается вперед».

Работал Толстой очень напряженно, по многу раз прорабатывая и переписывая каждый эпизод, каждую фразу. Он не успевал закончить правку, как появлялись новые варианты диалогов, воображение рождало новые сцены, менялись характеристики героев, складывались по-новому детали мира, окружающего героев.

Зацепившись за одно какое-нибудь слово, Лев Николаевич мог превратить его в сцену или диалог. Так, например, в сцене встречи князя Андрея в лесу с зеленеющим по весне дубом, в первой редакции романа присутствовала фраза: «Было жарко, легко». Во время правки Лев Николаевич вычеркнул эту фразу и после описания пейзажа добавил диалог, в котором лакей Петр сначала разговаривает с кучером, а затем, обращаясь к князю Андрею, говорит: «Ваше сиятельство, лёгко как». Простая искренняя фраза человека из народа побуждает князя Андрея к новым мыслям, к созерцанию возрождающейся к жизни природы во главе

с зеленеющим дубом. Все это способствует духовному перерождению князя, возникновению в нем угасшей было жажды жизни.

Писал Лев Николаевич стремительно, рука его еле поспевала за мыслью, и так же стремительно правил. Неудивительно, что подобный стиль работы в сочетании с гигантским объемом произведения приводил к появлению в романе ряда мелких противоречий и неувязок.

Если княжна Марья надевает отправляющемуся на войну брату образок в серебряной ризе и на серебряной цепочке, то французские солдаты-мародеры снимают после Аустерлицкого сражения с тяжело раненного князя Андрея уже не серебряный, а золотой образок. Много путаницы с возрастом сестер Ростовых — если в августе 1805 года Наташе было тринадцать лет, то в начале 1806 года ей уже пятнадцать, а в 1809 году — только шестнадцать лет. Сестра Наташи, Вера, взрослеет куда стремительнее — в 1805 году ей семнадцать лет, в 1806 году — уже двадцать, а в 1809 году все двадцать четыре.

Внося правки, Лев Николаевич не всегда успевал убрать слова и фразы, потерявшие в окончательной редакции свое значение. Так, например, князь Андрей обращается к Пьеру со словами: «Ты знаешь наши женские перчатки», после чего в скобках следует пояснение автора: «Он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине». Упоминание о «наших женских перчатках» было уместно в предыдущей версии текста, версии, в которой князь Андрей был масоном, но в окончательном варианте текста, где князь Андрей не имеет с масонами ничего общего, «перчаток» быть не должно.

После Бородинского сражения Пьер Безухов, вернувшись от Растопчина, к которому он был вызван,

перед сном вспоминает в общих чертах события последних дней: «Они — солдаты на батарее, князь Андрей убит... старик...» Непонятно, о каком старике вспоминает Безухов. Дело в том, что первоначальный вариант рукописи третьего тома включал главу, в которой описывалась встреча Пьера со столетним стариком, который остался на пепелище родной деревни. На вопрос Пьера, почему он не уехал вместе со всеми односельчанами, старик отвечает: «Куда же я от Бога уеду? Он, родимый, везде найдет». Убрав эту главу во время правки, Толстой забыл вычеркнуть упоминание о старике.

Впрочем, без мелких погрешностей не обходится ни одно произведение, тем более такое масштабное, как «Война и мир».

12 января Софья Андреевна писала в дневнике: «Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением, пишет». «Раздраженно» здесь надо понимать в смысле «возбужденно».

Переутомление вызвало сильные головные боли, должно быть, Лев Николаевич страдал гипертонией. В феврале он писал брату Сергею: «У меня недели две как сделались приливы к голове и боль в ней такая странная, что я боюсь удара». О головных болях мужа Софья Андреевна 19 февраля писала племяннице Льва Николаевича, дочери Марии Николаевны Варваре: «У Левы всё болит голова, такая досада, а всё пишет, так много пишет, думает и утомляется».

Вновь появилось недовольство жизнью, в первую очередь выразившееся в ухудшении отношений с женой. «Соня рассказывала мне, — писала в своих мемуарах Татьяна Кузминская, — что она сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении.) Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:

— Зачем ты сидишь на полу? Встань!

— Сейчас, только уберу всё.

— Я тебе говорю, встань сейчас, — громко закричал он и вышел к себе в кабинет.

Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услышала падение чего-то, стук разбитого стекла и возглас:

— Уйди, уйди!

Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко, и страшно — я никогда не видела его таким. Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, всё повторяла: «За что? Что с ним?»

Она рассказала мне уже немного погодя: — Я пошла в кабинет и спросила его: «Левочка, что с тобой?» — «Уйди, уйди!» — злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофеем и чашкой и бросил всё на пол. Я схватила его руку. Он рассердился, сорвал со стены термометр и бросил его на пол».

Это происшествие вызвало выкидыш у Софьи Андреевны.

В этот год Льва Николаевича часто посещают мысли о смерти. Причин тому много. В марте умерла жена его лучшего друга Мити Дьякова. Вскоре после нее в Италии трагически погибает, подавившись костью, родная сестра Александры Толстой Елизавета. «Бывает время, когда забудешь про нее — про смерть, а бывает так, как нынешний год, что сидишь со своими дорогими, притаившись, боишься про своих напомнить и

с ужасом слышишь, что она то там, то здесь бестолково и жестоко подрезывает иногда самых лучших и самых нужных», — писал Лев Николаевич Александре Андреевне.

Вызывало беспокойство и здоровье самого Толстого — к головным болям добавилась все нарастающая и нарастающая слабость, которую Лев Николаевич истолковал как симптом чахотки. Повод для опасений подобного рода у него был — ведь два его брата, Николай и Дмитрий, умерли от туберкулеза. В страхе и смятении Толстой отправился в Москву, чтобы проконсультироваться с модным в аристократических кругах доктором Захарьиным (кстати говоря — Григорий Антонович Захарьин был прототипом профессора Преображенского в булгаковском «Собачьем сердце»).

«Захарьин, — писал Толстой жене, — до смешного был внимателен и педантичен; рассматривая меня, заставлял и ходить с закрытыми глазами, и лежать, и дышать как-то, и ощупал и остукал со всех сторон».

К счастью, страшный диагноз не подтвердился — из болезней Захарьин нашел у Льва Николаевича только нервное расстройство да камни в желчном пузыре.

Пока муж проходил обследование в Москве, жена волновалась в Ясной Поляне и писала ему сумбурные письма, проникнутые нежностью, заботой и беспокойством: «Боюсь не успеть написать тебе завтра, милый Левочка, и потому начинаю свое письмо с вечера, в 11 часов, когда дети спят и когда особенно грустно и одиноко. А завтра тетенька посылает Ивана, и я уже не могу послать его поздно. Утром, во всяком случае, напишу всё ли у нас благополучно. А теперь мы все здоровы, дети, кажется, теперь совсем поправились, боль, которая у меня была утром, тоже прошла, и ничего у нас особенного не случи-

лось. Нынче необыкновенной деятельностью старалась в себе заглушить все мрачные мысли, но чем более старалась, тем упорнее приходили в голову самые грустные мысли. Только когда я сижу и переписываю, то невольно перехожу в мир твоих Денисовых и Nicolas (персонажи «Войны и мира». — А.Ш.), и это мне особенно приятно. Но переписываю я мало, всё некогда почему-то.

Завтра никак не могу еще иметь письма от тебя и жду этого письма с болезненным нетерпением. Ведь, подумай, я ничего не знаю, кроме лаконического содержания телеграммы, а воображение мое уже замучило меня. Знаешь, целый день хожу как сумасшедшая, ничего не могу есть, ни спать, и только придумываю, что Таня, что Дьяковы, и всё воображаю себе Долли (недавно умершая жена Дмитрия Дьякова. — А.Ш.), и грустно, и страшно, да еще, главное: и тебя-то нет, и о тебе всё думаю, что может с тобой случиться. Приезжай скорей».

Лев Николаевич не отставал от супруги в излишних чувств: «Сижу один в комнате во всем верху (он по обыкновению остановился у Берсов. — А.Ш.); читал сейчас твое письмо, и не могу тебе описать всю нежность, до слез нежность, которую к тебе чувствую, и не только теперь, но всякую минуту дня. Душенька моя, голубчик, самая лучшая на свете! Ради Бога, не переставай писать мне каждый день до субботы... Без тебя мне не то, что грустно, страшно, хотя и это бывает, но главное — я мертвый, не живой человек. И слишком уж тебя люблю в твоём отсутствии».

«Слишком уж тебя люблю в твоём отсутствии» — великолепно сказано!

Опытная Софья Андреевна видела в чувствах мужа преимущественно физиологическую подоплеку, которую не очень-то жаловала: «Хотя приходит в голову,

что причины твоей большей нежности от причин, которые не люблю я, — писала она, — но потом я сейчас же не хочу себе портить радости и утешаюсь и говорю себе: от каких бы то ни было причин, но он меня любит, и слава Богу».

Софья Андреевна и в браке продолжала отдавать предпочтение чувствам возвышенным, романтическим, утверждая приоритет духовного над физиологическим. Чрезмерная страстность мужа ее всегда пугала, тем более что в пылу одержимости Лев Николаевич забывал о нежности, был откровенно груб и ничем, кроме собственного удовольствия, не интересовался. Да и практически постоянное состояние беременности, виновницей которого была страсть мужа, начинало тяготить Софью Андреевну. Нет, не следует думать, что она не любила или не желала иметь детей, напротив — в роли матери Софья Андреевна видела главное свое призвание. Но молодой женщине хотелось светской жизни, хотелось балов, развлечений, общения, а вместо этого ей приходилось мириться с ролью вечно беременной затворницы. Сыграло свою роль и то, что беременной женой Лев Николаевич почти откровенно брезговал, всячески ее сторонясь.

«Из тринадцати детей, которых она родила, — писал о матери сын Илья Львович Толстой, — она одиннадцать выкормила собственной грудью. Из первых тридцати лет замужней жизни она была беременна сто семнадцать месяцев, то есть десять лет, и кормила грудью больше тринадцати лет...»

«Описание моей жизни делается все менее и менее интересно, — писала Софья Андреевна, — так сводится все к одному и тому же: роды, беременность, кормление, дети... Но так и было: сама жизнь делалась все более замкнутой, без событий, без участия в жизни общественной, без художеств и без всяких перемен и ве-

селья. Таковую ее устроил и строго соблюдал Лев Николаевич».

Устроил для жены и для нее же соблюдал. «Сам же он жил весь в мире мысли, творчества и отвлеченных занятий и удовлетворялся вполне этим миром, приходя в семью для отдыха и развлечения», — продолжает Софья Андреевна. Она приводит цитату из записной книжки мужа, который пишет: «Поэт лучшее своей жизни отнимает у жизни и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно, а жизнь дурна».

Спорное, весьма спорное утверждение, но вполне могущее служить оправданием. Как будто нельзя писать хорошо и при этом быть довольным своей жизнью.

«Жизнь Льва Николаевича не была дурна, но ее просто не было, — поясняет Софья Андреевна, — проявлялась она разве только в охоте, которую он любил, главное, потому, что с нею связана всегда любовь к природе, и в прогулках в одиночестве, необходимом для новых мыслей и обсуждений будущего писания.

Сколько раз было, что робко попросишь Льва Николаевича: «Левочка, возьми меня гулять!» А он откажет, объясняя свой отказ тем, что ему необходимо уединение, чтобы обдумать дальнейшее писанье».

На словах Лев Николаевич осуждал половую связь, считая ее греховной, грязной и недостойной высокодуховных личностей. Уступая этому неизменному чувству, он ни в коей мере не собирался оправдывать его. Толстой поступался лишь физиологической страстью, но не своей нравственностью мыслителя.

Но тем не менее ему требовалось оправдание, и он его нашел. «Мерзость» и «гадость» оправдывалась результатом — рождением детей. «Связь мужа с женой, — писал Толстой, — не основана на договоре и не на плотском соединении. В плотском соединении есть

что-то страшное и кощунственное. В нем нет кощунственного только тогда, когда оно производит плод. Но все-таки оно страшно, так же страшно, как труп. Оно тайна».

Каждый волен рассуждать по-своему, но Софье Андреевне было не до схоластики. Граф мыслил, а графиня занималась прозаическими сторонами жизни — терпела все невзгоды беременного состояния, рожала в муках детей, кормила их грудью, не спала ночей, занималась хозяйством, обеспечивала мужу необходимые условия для творчества, ревновала его к посторонним женщинам.

«Мне было часто жаль себя, своей личной одинокой жизни, уходящей на заботы о муже и семье, — однажды написала в дневнике Софья Андреевна, — во мне просыпались чаще другие потребности, желание личной жизни, чтоб кто-нибудь в ней участвовал ближе, помогал мне и любил бы меня не страстно, а ласково, спокойно и нежно. Но этого так никогда в жизни и не было. Когда кончилась страстность, ее заменила привычка и холодность.

Сознаю, что я тогда начинала портиться, делаться более эгоистка, чем была раньше.

Спасибо и за то, что, кроме меня, никого не любил Лев Николаевич, и строгая, безукоризненная верность его и чистота по отношению к женщинам была поразительна. Но это в породе Толстых. Брат его Сергей Николаевич тоже прожил честную женатую жизнь со своей немолодой уже давно цыганкой Машей, некрасивой и совершенно ему чуждой по всему».

Если «безукоризненная верность» Льва Николаевича, бывшая «в породе Толстых», сравнивается с «верностью» Сергея Николаевича его цыганке Маше (достаточно вспомнить роман Сергея Николаевича с Татьяной Берс!), то весь этот абзац кажется надуман-

ным и недостоверным. Конечно же, можно предположить, что Софья Андреевна имеет в виду «женатую жизнь» Сергея Николаевича после венчания, но это суждение кажется надуманным. Одни и те же многолетние отношения как-то неуместно делить на два периода — до венчания и после.

Но — все неприятное происходит при встречах. Разлука наполняет сердца нежностью с примесью печали.

«Как хорошо всё, что ты оставил мне списывать, — писала Софья Андреевна. — Как мне нравится княжна Марья! Так ее и видишь. И такой славный, симпатичный характер. Я тебе всё буду критиковать. Князь Андрей, по-моему, всё еще не ясен. Не знаешь, что он за человек. Если он умен, то как же он не понимает и не может растолковать себе свои отношения с женой».

«Сижу у тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет...»

«Посылаю тебе, милый Левочка... образок, который, как всегда, везде был с тобой, и потому и теперь пускай будет. Ты хоть и удивишься, что я тебе его посылаю, но мне будет приятно, если ты его возьмешь и сбережешь».

Расстояние, разделявшее супругов, сглаживало противоречия, снижало накал разногласий. На расстоянии нельзя полноценно тиранить друг друга ни с помощью упреков, ни с помощью самоотверженной любви. Все потом, после, при встрече.

Семейная жизнь вышла совершенно не такой, как ожидалось, совершенно не такой, которую Соня привыкла видеть в родительском доме. Она писала в дневнике: «Иногда на меня находит озлобление, что и не надо, и не люби, если меня не умел любить, а главное, озлобление за то, что за что же я-то так сильно, унижительно и больно люблю. Мама часто хвалится, как ее любит так долго папа. Это не она умела привязать, это

он так умел любить. Это особенная способность. Что нужно, чтоб привязать? На это средств нет. Мне внушали, что надо быть честной, надо любить, надо быть хорошей женой и матерью. Это в азбучках написано — и всё это пустяки. Надо не любить, надо быть хитрой, надо быть умной и надо уметь скрывать всё, что есть дурного в характере, потому что без дурного еще не было и не будет людей. А любить, главное, не надо. Что я сделала тем, что так сильно любила, и что я могу сделать теперь своею любовью? Только самой больно и унижительно ужасно. И ему-то это кажется так глупо».

Толстой больше не намерен печататься в журналах, ему хочется видеть «Войну и мир» отдельным изданием. Так солиднее, да и зависеть ни от кого (в смысле — от издателей) не хочется.

В июне 1867 года Толстой заключил договор с типографией Ф. Ф. Риса, поручив наблюдение за печатанием и окончательное чтение корректур издателю «Русского архива» Петру Бартеневу. Лев Николаевич разрешил Бартеневу делать в тексте романа поправки «в смысле исправности и даже правильности языка». Договор с типографией был жестким, подразумевавшим крупные штрафы в случае несвоевременной сдачи рукописей, поэтому Толстому пришлось ускорить работу над третьим томом своего романа.

Работу он ускорил, но продолжал править помногу, подолгу и часто. Правил рукопись до сдачи в типографию, правил и корректуры, присылаемые из типографии. «Вы бог знает что делаете, — гневался Бартенева. — Эдак мы никогда не кончим поправок и печатания. Сошлюсь на кого хотите, большая половина Вашего перемарывания вовсе не нужна; а между тем от него цена типографская страшно возрастает. Я велел написать в типографии Вам счет за корректуры... Объясне-

ние Безухова с женою и вся глава в Лысых Горах хороши до того, что будут жить вечно: еще лучшего места я не читал во всем романе... Необходимо, чтобы в сентябре были готовы две части. Я, между прочим, в начале сентября пропущу в печати слух о скором выходе... Ради бога, перестаньте колупать!»

Перестать колупать было невозможно. В ответном письме Толстой писал Бартеневу: «Не марать так, как я мараю, я не могу, и твердо знаю, что маранье это идет в великую пользу. И не боюсь потому счетов типографии, которые, надеюсь, не будут уж очень придирчивы. То именно, что вам нравится, было бы много хуже, ежели бы не было раз пять перемарано».

Счета типографии бережливого литератора не волновали — принцип был важнее. Зачастую Толстой так «марал» корректуры, что просил, в случае неясности его поправок, высылать корректуры повторно.

Так или иначе, но в сентябре ушли в набор первые листы третьего тома «Войны и мира». В то время и сам Толстой еще не уяснил, из какого количества томов будет состоять его роман.

2 ноября в Москву ушли последние листы рукописи третьего тома, а 26 ноября Толстой отправил в типографию последние корректуры того же тома.

Опасаясь подвоха со стороны цензуры, Толстой 8 декабря писал Бартеневу: «В том, что я посылаю, есть тоже опасные места в цензурном отношении. Пожалуйста, руководствуйтесь тем, что я писал вам в последнем письме, т. е. вымарывайте все, что сочтете опасным. Теперь, когда дело приближается к концу, на меня находит страх, как бы цензура или типография не сделала какой-нибудь гадости. В обоих случаях одна надежда на вас».

В «Войне и мире» цензура ничего крамольного так и не нашла.

17 декабря в № 276 газеты «Московские ведомости» появилось долгожданное объявление: «Война и мир». Сочинение графа Льва Николаевича Толстого. Четыре тома (до 80 листов). Цена 7 руб.; пересылка за 5 фунтов. Первые три тома выдаются с билетом на четвертый у П. И. Бартенева». Далее был указан адрес Бартенева.

С Бартеневым, в отличие от владельца типографии, в которой печаталась «Война и мир», у Толстого сложились хорошие отношения. Рис же вечно докучал Льву Николаевичу требованием денег. «Распросукин сын Рис второй раз будит меня в середине ночи, — жаловался Толстой Бартеневу. — Раз прискакал ночью, а нынче напугал нас с женой ночной телеграммой. Ему нужны деньги для того, чтобы шла его типография, а мне нужен сон для того, чтобы шла моя машина».

«Война и мир» была встречена по-разному. Одни восторгались романом, другие беспощадно критиковали его.

Критик Николай Страхов (хорошая фамилия для критика, не так ли?) писал о романе: «Когда начинался рассказ, перед нами открывались два семейства, уже давно сложившиеся, — семейство Волконских, в котором были взрослые сын и дочь, и семейство Ростовых, в котором Николай был еще студентом, а Наташе было двенадцать лет. Через пятнадцать лет (таков период, обнимаемый хроникой) перед нами являются две молодые семьи с маленькими детьми. С гениальным тактом художник начал свою семейную хронику с людей настолько взрослых, что мы можем ими заинтересоваться, и кончил картинами, в которых даже грудные дети нам бесконечно милы, так как принадлежат к семействам, с которыми мы сжились и сроднились во время рассказа.

Полная картина человеческой жизни.

Полная картина тогдашней России.

Полная картина того, в чем люди полагают свое счастье и величие, свое горе и унижение.

Вот что такое “Война и мир”.

Хоть Лев Николаевич и утверждал, что на критиков лучше совсем не обращать внимания, но Страхова он читал с удовольствием, сказав однажды, что тот «поставил “Войну и мир” на высоту, на которой она и удержалась».

Глава пятнадцатая

РЕКА ЖИЗНИ

Тоска накатывала и раньше, но всегда по какому-нибудь поводу. В Арзамасе, где Толстой в начале сентября 1869 года оказался проездом (ехал смотреть имение, выставленное на продажу), сильнейший приступ внезапной тревоги охватил его без всякой видимой причины.

«Что с тобой и детьми? — встревоженно писал жене Лев Николаевич. — Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть вне семьи».

Пережитое в Арзамасе Толстой описал много позже (в середине 1880-х годов) в незаконченном автобиографическом рассказе «Записки сумасшедшего». Тревога охватила его еще на подъезде к Арзамасу. «Мне стало чего-то страшно. И, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный — кажется, никогда

не заснешь. “Зачем я еду? Куда я еду?” пришло мне вдруг в голову... вдруг представилось, что мне не нужно ни за чем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте».

В Арзамасе, на постоялом дворе, тоска усилилась. «Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я — вот он, я весь тут. Ни пензенское, никакое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться — и не могу. Не могу уйти от себя».

Толстой пытался взять себя в руки, приободриться:

«— Да что это за глупость? — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь?»

— Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут.

Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь — и, вместе с тем, совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно... Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене — ничего не только веселого не было, но всё это стало ничто. Всё заслонял ужас за свою погибающую жизнь... И тоска, и тоска, — такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части, и не могло разодрать».

Имение Толстой покупать раздумал — не до того ему было. Неудержимо тянуло домой, в Ясную Поляну, под

защиту родных стен. Дома он почувствовал себя лучше, но ненадолго. «Душа просила чего-то — чего-то хотелось». Вдруг пришла мысль о том, что «надо переродиться для того, чтобы успокоиться, и успокоиться в лучшем, что есть во мне».

Дальше — хуже: «Переродиться — умереть, — осеняет страшная догадка. — Вот одно успокоение и одно, чего я желаю и чего мы желаем».

Вскоре ему начало казаться, что он тяжело болен. «Не писал Вам давно и не был у Вас оттого, что был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже на что-то дурное или хорошее — смотря по тому, как называть конец», — пишет он Фету.

Все усиливающаяся хандра не могла не сказаться на отношениях с женой. «И что-то пробежало между нами, какая-то тень, которая разъединила нас... — вспоминала Софья Андреевна. — Я знаю, что во мне переломилась та твердая вера в счастье, которая была. Я потеряла твердость, и теперь какой-то постоянный страх, что что-то случится».

Летом 1871 года Толстой отправляется под Самару лечиться кумысом. Он уже был здесь девять лет назад и сохранил о поездке неплохие впечатления. Поначалу смена обстановки не помогла. «С тех пор, как приехал сюда, — писал Толстой жене, — каждый день в шесть часов вечера начинается тоска, как лихорадка, тоска физическая, ощущение которой я не могу лучше передать, как то, что душа с телом расстаётся. Душевной тоски о тебе я не позволяю подниматься. И никогда не думаю о тебе и детях, и оттого не позволяю себе думать, что всякую минуту готов думать, а стоит раздуматься, то сейчас уеду. Состояния я своего не понимаю: или я простудился в кибитке в первые холодные ночи, или кумыс мне вреден...»

Но в итоге поездка оказалась не напрасной — страдалец обрел некое подобие душевного равновесия. Обрел настолько, что даже прикупил имение — земля в тех краях была очень дешевой, имение с двадцатью пятью квадратными километрами земли обошлось Толстому в двадцать тысяч рублей.

Увы, по возвращении домой душевное равновесие исчезло, на сей раз уступив место не хандре, а апатии. Совершенно растерявшаяся Софья Андреевна писала сестре Тане: «Левочка повторяет, что для него все кончено, что он скоро умрет, ничто его больше не радует и что ничего больше не ждет от жизни».

В поисках смысла жизни Лев Николаевич возвращается к педагогической деятельности, с которой распрощался в 1863 году. Он пишет «Азбуку», сборник из двух сотен текстов, адаптированных для детского чтения, и возрождает школу для крестьянских детей в Ясной Поляне. Теперь школа располагалась в самом доме, а учителями были Лев Николаевич, Софья Андреевна и их старшие дети — восьмилетний Сергей и семилетняя Татьяна. Если с деревенскими детьми Лев Николаевич держался крайне доброжелательно, бесконечное число раз объясняя им непонятное, то, обучая своих собственных, был раздражителен и резок.

По возвращении из Самарской губернии на Льва Николаевича свалилась крупная неприятность. Во время его отсутствия был насмерть забодан быком один из яснополянских крестьян-пастухов. Для выяснения обстоятельств дела в Ясную Поляну явился судебный следователь. Следователь был молод и самолюбив. Ему не понравилось высокомерное обращение хозяина имения, в результате чего со Льва Николаевича было взято письменное обещание не покидать Ясной Поляны до окончания следствия, иначе говоря — подписка о невыезде.

Возмущению Толстого не было предела. Богатое воображение рисовало ему самые страшные картины, вплоть до суда, тюрьмы, каторги. Подточенные тяжкими думами нервы не выдержали, и с Толстым случилась натуральная истерика, растянувшаяся на несколько дней.

В первую очередь Лев Николаевич принялся искать защиты и понимания при дворе.

«Молодой бык в Ясной Поляне убил пастуха, и я под следствием, под арестом, — жаловался он тетюшке-фрейлине Александре Андреевне, чрезмерно сгущая краски, — не могу выходить из дома (все это по произволу мальчика, называемого судебным следователем), и на днях должен обвиняться и защищаться в суде перед кем? Страшно подумать, страшно вспомнить о всех мерзостях, которые мне делали, делают и будут делать».

С седой бородой, 6-ю детьми, с сознанием полезной и трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не могу быть виновным, с презрением, которого я не могу не иметь к судам новым, сколько я их видел, с одним желанием, чтобы меня оставили в покое, как я всех оставляю в покое, невыносимо жить в России, с страхом, что каждый мальчик, кот[орому] лицо мое не понравится, может заставить меня сидеть на лавке перед судом, а потом в остроге; но перестану злиться. Всю эту историю вы прочтете в печати. Я умру от злости, если не изолюю ее, и пусть меня судят за то еще, что я высказал правду. Расскажу, что я намерен делать и чего я прошу у вас».

Спасение видится в эмиграции: «Если я не умру от злости и тоски в остроге, куда они, вероятно, посадят меня (я убедился, что они ненавидят меня), я решил-ся переехать в Англию навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будет у нас обеспечено. Жена смотрит на это с удовольс-

твием — она любит английское, для детей это будет полезно, средств у меня достанет (я наберу, продав все, тысяч 200); сам я, как ни противна мне европейская жизнь, надеюсь, что там я перестану злиться и буду в состоянии те немногие года жизни, которые остаются, провести спокойно, работая над тем, что мне еще нужно написать. План наш состоит в том, чтобы поселиться сначала около Лондона, а потом выбрать красивое и здоровое местечко около моря, где бы были хорошие школы, и купить дом и земли. Для того, чтоб жизнь в Англии была приятна, нужны знакомства с хорошими аристократическими семействами. В этом-то вы можете помочь мне, и об этом я прошу вас. Пожалуйста, сделайте это для меня. Если у вас нет таких знакомых, вы, верно, сделаете это через ваших друзей».

Если даже тетушка и пыталась помочь чересчур порывистому, несмотря на возраст, племяннику, то времени у нее на это не оказалось — спустя четыре дня проблема разрешилась. «Простите меня, если я вас встревожил, — писал Толстой, — но я не виноват; я измучился в этот месяц, как никогда в жизни, и с мужским эгоизмом хотел, чтобы все хоть немного помучались со мною. Мне уже легче стало, когда я высказал вам и когда решил уехать. Нынче — сейчас — я получил письмо от председателя суда — он пишет, что все мерзости, которые мне делали, была ошибка и что меня оставят в покое. Если это так, то я никуда не уеду и только прошу вас простить меня, если я вас встревожил».

Как откровенно: «Простите меня, если я вас встревожил; но я не виноват; я измучился в этот месяц, как никогда в жизни, и с мужским эгоизмом хотел, чтобы все хоть немного помучились со мною». Годы меняют людей, но над эгоизмом время не властно.

Принимая посильное участие в педагогической деятельности мужа, Софья Андреевна тем не менее была

крайне недовольна тем, что Лев Николаевич совсем отошел от литературной деятельности. По ее мнению, толка от обучения крестьянских детей было гораздо меньше, чем от написания книг. Играли свою роль и денежные соображения — большая семья требовала больших расходов. Кроме того, Софья Андреевна уже успела вжиться в роль жены и помощницы писателя, и ей было тяжело отказаться от нее.

Все это привело к нарастанию отчуждения между супругами. Лев Николаевич вдруг с удивлением обнаружил, что его жена, мать его многочисленных детей, которую он когда-то склонен был считать идеальной спутницей своей жизни, на самом деле — совершенно чужой ему человек. Уж не в этом ли печальном открытии крылись корни его апатии, его скептицизма, переходящего в нигилизм?

Софья Андреевна, в свою очередь, страдала от своего затворничества, нескончаемой череды беременностей, все возрастающих хозяйственных забот. Ей не было еще и тридцати лет, а выглядела она совершенной старухой — уставшей, отчаявшейся, разочаровавшейся во всем. Она ощущала себя погребенной заживо вдали от света, ощущала себя жертвой, причем жертвой бессмысленной и бесполезной. Должно быть, Софью Андреевну снедала не меньшая тоска, чем Льва Николаевича, только вот за хозяйственными хлопотами некогда было ей предаваться.

Взгляд, ненароком брошенный в зеркало, заставлял сердце сжиматься от горя. «Я ненавижу тех людей, которые мне говорят, что я красива, — писала Софья Андреевна, — я этого никогда не думала, а теперь уже поздно. И к чему бы и повела красота, к чему бы она мне была нужна? Мой милый, маленький Петя любит свою старую няню так же, как и любил бы красавицу. Ловочка привык бы и к самому безобразному лицу, лишь

бы жена его была тиха, покорна и жила бы той жизнью, какую он для нее избрал. Мне хочется всю себя вывернуть самой себе и уличить во всем, что гадко, и подло, и фальшиво во мне. Я сегодня хочу завиваться и с радостью думаю, что хорошо ли это будет, хотя никто меня не увидит, и мне этого и не нужно. Меня радуют бантики, мне хочется новый кожаный пояс, и теперь, когда я это написала, мне хочется плакать».

Семейная жизнь и слезы в какой-то момент стали неотделимы друг от друга. И только дети были отрадой материнского сердца, доказательством того, что жизнь проходит не зря, а со смыслом.

В одном из писем к Александре Толстой Лев Николаевич нарисовал портреты всех шестерых (на то время) своих детей: «Старший белокурый, — не дурен. Есть что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но когда он плачет, я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить. Это слишком бы было хорошо. Главная черта брата была не эгоизм и не самоотвержение, а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался и страдал в себе одном. Сережа умен — математический ум и чутье к искусству, учится прекрасно, ловок прыгать, гимнастика; но gauche* и рассеян. Самобытного в нем мало. Он зависит от физического. Когда он здоров и нездоров, это два различные мальчика.

Илья 3-й. Никогда не был болен. Ширококость, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив; «мое» для него очень важно. Горяч

и violent*, сейчас драться; но и нежен, и чувствителен очень. Чувствен — любит поест и полежать спокойно. Когда он ест желе смородиное и гречневую кашу, у него губы щекотит. Самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются.

Все непозволенное имеет для него прелесть, и он сразу узнает. Еще крошкой он подслушал, что беременная жена чувствовала движение ребенка. Долго его любимая игра была то, чтоб подложить себе что-нибудь круглое под курточку и гладить напряженной рукой и шептать, улыбаясь: «это бебичка». Он гладил также все бугры в изломанной пружинной мебели, приговаривая! «бебичка»... Если я умру, старший, куда бы ни попал, выйдет славным человеком, почти наверно в заведении будет первым учеником, Илья погибнет, если у него не будет строгого и любимого им руководителя...

Таня — 8 лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была Адамова старшая дочь и не было бы детей меньше ее, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта теперь сознательная — иметь детей. На днях мы ездили с ней в Тулу снимать ее портрет. Она стала просить меня купить Сереже ножик, тому другое, тому третье. И она знает все, что доставит кому наибольшее наслаждение. Ей я ничего не покупал, и она ни на минуту не подумала о себе. Мы едем домой. «Таня, спишь?» — «Нет». — «О чем ты думаешь?» — «Я думаю, как мы приедем, я спрошу у мама, был ли Леся хорош, и как я ему дам, и тому дам, и как Се-

* «неуклюж» (*фр.*).

* «порывист» (*фр.*).

режа притворится, что он не рад, а будет очень рад». Она не очень умна. Она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если бог даст мужа. И вот, готов дать премию огромную тому, кто из нее сделает новую женщину.

4-й Лев. Хорошенький, ловкий, памятный, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Все, что другие делают, то и он, и все очень ловко и хорошо. Еще хорошенько не понимаю.

5-я Маша, 2 года, та, с которой Соня была при смерти. Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные, голубые глаза; странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Эта будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное.

6-й Петр-великан. Огромный, прелестный беби, в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится. И жена приходит в восторженное волнение и торопливость, когда его держит; но я ничего не понимаю. Знаю, что физический запас есть большой. А есть ли еще то, для чего нужен запас, — не знаю. От этого я не люблю детей до 2—3 лет — не понимаю».

От описания Лев Николаевич перешел к выводам: «Говорил ли я вам про странное замечание? — спрашивает он тетюшку. — Есть два сорта мужчин — охотники и неохотники. Неохотники любят маленьких детей — беби, могут брать в руки; охотники имеют чувство страха, гадливости и жалости к беби. Я не знаю исключения этому правилу. Проверьте своих знакомых».

Завершив работу над «Азбукой», Толстой вернулся к былому замыслу исторического романа эпохи Петра I, но довольно скоро отказался от него навсегда. Не

вырисовывалась картина того времени, чужими и непонятными казались персонажи. «До сих пор не работаю, — писал он Николаю Страхову, с которым сдружился, 17 декабря 1872 года. — Обложился книгами о Петре I и его времени; читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника. На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут. Мне даже кажется, что ничего не выйдет из моих приготовлений. Слишком уж долго я примериваюсь и слишком волнуюсь. И я не огорчусь, если ничего не выйдет!»

Лев Николаевич озаботился поисками новых идей. Как раз в то время до России докатилась европейская мода на психологические романы. В этой связи Лев Николаевич вспомнил недавнюю печальную историю, одним из участников которой был его сосед и приятель Бибиков, владелец имения Телятинки, находящегося в трех верстах от Ясной Поляны. Вдовец Бибиков сожительствовал со своей экономкой Анной Пироговой. По воспоминаниям Софьи Андреевны, это была «высокая полная женщина с русским типом и лица и характера, брюнетка с серыми глазами, но некрасивая, хотя очень приятная». Когда Бибиков заявил Анне, что намерен оставить ее и жениться на гувернантке своего сына, несчастная женщина уехала к родным в Тулу. Однако спустя несколько дней она приехала на ближайшую к Телятинкам железнодорожную станцию Ясенки (ныне эта станция называется Щекино), откуда с посыльным отправила Бибикову письмо, которого тот не принял.

«Вы мой убийца, будьте счастливы с ней, если убийцы могут быть счастливы. Если хотите меня видеть, вы можете увидеть мое тело на рельсах в Ясенках», — было написано в письме.

4 января 1872 года в семь часов вечера Анна Пирогова бросилась на рельсы под товарный поезд и была им перерезана пополам. Толстой, движимый странным любопытством, ездил смотреть, как ее вскрывали. «Впечатление было ужасное и запало ему глубоко», — вспоминала Софья Андреевна.

Самоубийство Анны Пироговой легло в основу нового романа Толстого. Примечательно, что в первой редакции романа главная героиня носила имя Татьяны.

Софья Андреевна была счастлива — муж начал писать роман, да еще из современной жизни, который, вне всякого сомнения, будет с интересом принят публикой.

После долгого перерыва работалось вздохом, влет. «Я пишу роман, не имеющий ничего общего с Петром I, — писал Толстой Страхову 11 мая 1873 года. — Пишу уже больше месяца и начерно кончил. Роман этот, именно роман, первый в моей жизни, очень взял меня за душу. Я им увлечен весь». Персонажей по своему обыкновению Лев Николаевич брал из жизни, не забывая и про себя самого, выведенного под именем Левина. Он вспомнил даже о Митрофане Поливанове, несостоявшемся супруге Сони Берс. Именно поливановские черты легли в основу образа Вронского (видимо, сосед Бибииков совершенно не смотрелся на страницах романа в качестве коварного соблазнителя и погубителя). Внешность Анны Карениной Толстой списал с дочери поэта Пушкина Марии Александровны Гартунг, увиденной им в Туле.

Как и «Войну и мира», переписывала новый роман Софья Андреевна. Она радовалась тому, что муж снова занялся полезным для семьи делом, она надеялась, что с началом работы над романом постепенно, сами

собой восстановятся былые приятные отношения между ней и Львом Николаевичем, но надежды так и остались надеждами — погружаясь в творчество, Лев Николаевич все больше отдалялся от семьи.

9 ноября 1873 года от дифтерии умер младший сын Толстых Петя, тот самый «огромный, прелестный беби». «9 ноября, в 9 часов утра, умер мой маленький Петюшка болезнью горла, — писала в дневнике убитая горем мать. — Болел он двое суток, умер тихо. Кормила его год и два с половиной месяца, жил он с 13 июня 1872. Был здоровый, светлый, веселый мальчик. Милый мой, я его слишком любила, и теперь пустота, вчера его хоронили. И я не могу соединить его живого с ним же мертвым; и то и другое мне близко, но как различно это живое, светлое, любящее существо и это мертвое, спокойное, серьезное и холодное. Он был очень ко мне привязан, жалко ли ему было, что я останусь, а он должен меня оставить?»

Лев Николаевич, судя по всему, переживал смерть сына не столь сильно. В день Петиных похорон он писал брату: «На другой день после твоего отъезда, т. е. вчера утром, Петя умер, и нынче его похоронили. Его задушило горло, то, что они называют крупом. Нам это внове и очень тяжело, главное Соне».

И сразу же переходил к типографским новостям и обсуждению предстоящего отъезда в Москву, уделяя этим событиям куда больше внимания, нежели смерти сына: «Вчера же получил письмо из типографии, что 12 выйдет издание. А нынче приехали Дьяковы. Дьяков едет нынче в Москву и оставляет Машу и Софеш у нас. Мне лучше всего бы было ехать в Москву теперь. Соня не останется одна. Если можешь, поедем теперь, т. е. послезавтра, 12. Ты ли заедешь к нам, или съедемся на поезде? Отвечай, как и что?»

Скорее всего ехать в Москву сразу же после похорон сына побуждали Толстого не какие-то срочные дела, а желание вырваться из пропитанной скорбью яснополянской атмосферы. Лев Николаевич не мог видеть заплаканную жену, представляющую собой ходячее напоминание о бренности всего живого. Он бежал в Москву от мыслей о неизбежности смерти, черных мыслей, способных снова ввергнуть его в пучину черной меланхолии. По возвращении в Ясную Поляну Толстой писал Фету: «Это первая смерть за 11 лет в нашей семье, и для жены очень тяжелая. Утешиться можно, что, если бы выбирать одного из нас 8-рых, эта смерть легче всех и для всех; но сердце, и особенно материнское — это удивительное высшее проявление Божества на земле, — не рассуждает, и жена очень горюет».

Ни слова о собственной скорби — только «для жены очень тяжелая» и «жена очень горюет». И это при том, что Лев Николаевич обычно был склонен не скупясь вываливать все свои переживания на друзей и близких. Достаточно вспомнить его слова из письма к Александре Толстой «мужским эгоизмом хотел, чтобы все хоть немного помучались со мною».

20 июня 1874 года, не дожив немного до своего восьмидесятилетия, умерла тетушка Туанет, в последние годы по болезни не выходившая из своей комнаты. Ее смерть вызвала у Толстого смешанное чувство печали и облегчения, так как соседство с больной было ему неприятно. Болезни напоминали о смерти, а с той самой злополучной ночевки в Арзамасе Лев Николаевич всячески старался отгонять от себя подобные мысли. «Она умерла почти старостью, — писал он Александре Толстой, — то есть угасла понемногу и уже года три тому назад перестала для нас существовать, так что (дурное или хорошее это было чувство, я не знаю). Но

я избегал ее и не мог без мучительного чувства видеть ее; но теперь, когда она умерла (она умирала медленно, тяжело — точно роды), все мое чувство к ней вернулось еще с большей силой. Она была чудесное существо».

Проникнуто грустью и письмо к сестре, правда грусть эта имеет эгоистическую подоплеку: «...когда пришла смерть, как лицо ее мертвой просветлилось и просияло, так и воспоминание о ней, и ее недостает — а для меня это разорвалась одна из важных связей с прошедшим. Осталась ты и Сережа».

«Анне Карениной» Толстой отдавал далеко не все силы — часть их тратилась на «педагогику». Внезапно он загорелся идеей создания в Ясной Поляне «педагогического института», под который решил отвести один из двух флигелей и даже оборудовал его мебелью — столами и скамейками. Софья Андреевна была в ужасе от предстоящего нашествия, как она выражалась, «мужиков и семинаристов», но Бог миловал — «студентов» набралась какая-то жалкая дюжина, от чего Лев Николаевич тут же охладел к «институту» и поспешил забыть о нем.

В январе 1875 года первые четырнадцать глав «Анны Карениной» были опубликованы в «Русском вестнике». Публика встретила роман хорошо, даже с восторгом.

«В четырнадцати главах “Анны Карениной”, — писал в “Санкт-Петербургских ведомостях” романист Всеволод Соловьев, — мы нашли именно то, что составляет большую редкость в наше время: мы нашли высокую простоту неподдельного искусства, полноту жизненной правды и тонкое чувство меры, составляющее одно из главнейших оснований художественности произведения и совсем почти затерявшееся в современной литературе».

«Я не только не ожидал успеха, но, признаюсь, боялся совершенного падения своей известности вследствие этого романа, — кокетничал Лев Николаевич в письме к Страхову 16 февраля 1875 года. — Искренно говорю, что это падение — я готовился к нему — не очень бы тронуло меня месяц тому назад. Я был весь — и теперь продолжаю быть — поглощен школьными делами, «Новой азбукой», которая печатается, грамматикой и задачиком, но теперь, очень недавно, я задумал новую поэтическую работу, которая сильно радуется, волнует меня и которая наверно будет написана, если бог даст жизни и здоровья, и для которой мне нужна моя известность. И я очень, очень рад, что роман мой не уронил меня. В успех большой я не верю».

В то время на семью Толстых обрушилось новое горе — младший сын, девятимесячный Николай, заболел менингитом, была водянка мозга. «Семейное горе это — страшная мозговая болезнь грудного 9-ти месячного ребенка, — писал в том же письме Толстой. — Вот 4-я неделя, что он переходит все фазы этой безнадежной болезни. Жена сама кормит и то отчаивается, что он умрет, то отчаивается, что он останется жив идиотом».

Вслед за сообщением о болезни младенца Лев Николаевич удивляется: «И странно: чувствую такую потребность и радость в работе, как никогда».

Спустя четыре дня несчастный малютка скончался.

Вскоре Софья Андреевна, по обыкновению бывшая беременной, заболела коклюшем, заразившись им от своих детей. Осложнившаяся беременность закончилась преждевременными родами. Новорожденная девочка прожила всего несколько часов. «Страх, ужас, смерть, веселье детей, еда, суета, доктора, фальшь, смерть, ужас. Ужасно тяжело было», — признавался Толстой в письме к Фету.

Черета смертей продолжалась. В канун Рождества, 22 декабря 1875 года, спустя семь недель после смерти новорожденной дочери, так и оставшейся безымянной, умерла тетушка Пелагея Юшкова, переехавшая из монастыря, где она коротала свой век, в Ясную Поляну. Тетушка Пелагея поселилась в комнате недавно скончавшейся тетушки Туанет и вскоре последовала за своей предшественницей на небеса, успев перед тем изрядно помучить всех яснополянских обитателей и, в первую очередь, несчастную Софью Андреевну. Недаром ведь еще в 1858 году Лев Николаевич писал в дневнике: «С тетенькой Полиной мы сердиты друг на друга... Надо признаться, что она дрянь».

«Странно сказать, но эта смерть старухи 80-ти лет подействовала на меня так, как никакая смерть не действовала, — признавался Лев Николаевич Александр Толстой. — Мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери, жалко было ее страданий, но в этой смерти было другое, чего не могу вам описать и расскажу когда-нибудь. Но часу не проходит, чтобы я не думал о ней. Хорошо вам, верующим, а нам труднее».

Он уже не причислял себя к верующим, разочаровавшись в религии как таковой.

В том же духе Толстой писал брату: «Вообще была для меня нравственно очень тяжелая зима; и смерть тетиньки оставила во мне ужасно тяжелое воспоминание... Умирать пора — это не правда; а правда то, что ничего более не остается в жизни, как умирать. Это я чувствую беспрестанно. Я пишу и довольно много занимаюсь, дети хороши, но все это не веселит нисколько».

От всего пережитого Софья Андреевна тяжело заболела. Больше всего ее беспокоили сильные головные боли и кровохарканье, сопровождавшиеся по-

терей веса. Лишь благодаря хозяйственным заботам она не слегла, но чувствовала себя с каждым днем все хуже и хуже. «Я страшно устаю; здоровье плохо, дыханье трудно, желудок расстроен и болит. От холода точно страдаю и вся сжимаюсь», — писала она в дневнике.

Ей бы весьма кстати пришлось бы поддержка мужа или хотя бы его участие, но Лев Николаевич, как и прежде, вида больной жены не выносил. «Ужаснее болезни жены для здорового мужа не может быть положения», — откровенничал он в письме к писателю-славянофилу Павлу Голохвастову в середине марта 1876 года. В письме к Фету Толстой тоже жаловался на то, что из-за длительной болезни жены в доме у него нет «благополучия», а в нем самом нет «душевного спокойствия, которое мне особенно нужно теперь для работы. Конец зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время, да и надо кончить надоевший мне роман»

В конце концов Софья Андреевна была вынуждена отправиться в Петербург, чтобы проконсультироваться у придворного лекаря доктора Боткина, который отверг все страшные диагнозы, существовавшие в ее воображении, и посоветовал беречь нервы.

Софья Андреевна воспрянула духом и по возвращении домой с еще большим усердием взялась за дела. Она пыталась передать часть своей энергии мужу, ведь ей так хотелось поскорее увидеть «Анну Каренину» полностью написанной, но у Льва Николаевича работа над романом шла плохо. Дописывался роман совсем не так быстро, как начинался.

Николай Страхов пытался подбодрить его, но в ответ получал отповедь: «И не хвалите мой роман. Паскаль завел себе пояс с гвоздями, который он пожимал локтями всякий раз, как чувствовал, что похвала

его радует. Мне надо завести такой пояс. Покажите мне искреннюю дружбу: или ничего не пишите мне про мой роман, или напишите мне только все, что в нем дурно... Мерзкая наша писательская должность — развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не возвращаться дальше. Пожалуйста, помогите мне в этом».

«Ну хорошо — я буду Вам критиковать Ваш роман, — отвечал Страхов. — Главный недостаток — холодность писания, так сказать холодный тон рассказа... В целом во всем течении рассказа мне слышна холодность. Но ведь это только мне, человеку, который, читая, почти слышит Ваш голос. Затем — или вследствие того — описание сильных сцен несколько сухо. После них невольно просятся на язык несколько пояснительных или размышляющих слов, а Вы обрываете, не давая тех понижающихся и затихающих звуков, которыми обыкновенно оканчивается финал в музыке. Далее — места смешные не довольно веселы, но зато если рассмешат, то рассмешат ужасно.

Я за Вами слежу и вижу всю неохоту, всю борьбу, с которою Вы, великий мастер, делаете эту работу; и все-таки выходит то, что должно выйти от великого мастера: все верно, все живо, все глубоко».

9 декабря 1876 года Софья Андреевна делилась радостью с сестрой Татьяной: «Анну Каренину» мы (сколь трогательно это «мы»! — А.Ш.) пишем наконец-то по-настоящему, т. е. не прерываясь. Левочка, оживленный и сосредоточенный, каждый день прибавляет по новой главе. Я усиленно переписываю, и теперь даже под этим письмом лежат готовые листки новой главы, которую он вчера написал. Катков телеграфи-

ровал третьего дня, умоляя прислать несколько глав для декабрьской книжки».

13 января 1877 года Александра Толстая сообщала племяннику о впечатлении, произведенном его новым романом в Петербурге: «Все утонули в упоении этих последних глав... Всякая глава “Анны Карениной” подымала все общество на дыбы, и не было конца толкам, восторгам, и пересудам, и спорам, как будто дело шло о вопросе, каждому лично близком».

«Успех последнего отрывка “Анны Карениной” тоже, признаюсь, порадовал меня, — писал Толстой Страхову 26 января 1877 года. — Я никак этого не ждал и, право, удивляюсь и тому, что такое обыкновенное и ничтожное нравится, и еще больше тому, что, убедившись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать сплеча, что попало, а делаю какой-то самому мне почти непонятный выбор. Это я пишу искренно... Как ни пошло это говорить, но во всем в жизни, и в особенности в искусстве, нужно только одно отрицательное качество — не лгать».

Далее Лев Николаевич разъяснял разницу между ложью в жизни и ложью в творчестве: «В жизни ложь гадка, но не уничтожает жизнь, она замазывает ее гадостью, но под ней все-таки правда жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-нибудь больно или радостно, но в искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается».

Находились, впрочем, и недовольные романом. Так, например, газета «Одесский вестник» писала: «Читая графа Толстого, удивляешься, как этот могучий, оригинальный и весьма симпатичный талант не может подняться хоть сколько-нибудь выше ординарного и намозолившего нам глаза уровня психологических наблюдений, как этот талант не может выбиться из

узкой колеи, из тесных рамок этих наблюдений рутинных «страстей и побуждений» великосветского мира». Суровый критик творчества Льва Николаевича не пожелал открыть своего имени, скрывшись за инициалами Z.Z.Z.

Известный в то время литературный критик Александр Скабичевский выражался куда резче: «Уже первая часть романа возбудила некоторое разочарование и немалое недоумение: неужели это роман того самого графа Толстого, который написал «Войну и мир»? Вторая часть не имеет ни одной страницы, которая выкупила бы недостатки целого и напоминала бы нам прежнего Льва Толстого. Но третья часть вызвала во всех уже не одно недовольство, а положительно омерзение».

Скабичевский подробно разъяснял свою точку зрения: «Искусство имеет право изображать все, что ему угодно. Но дело только в том, что во все, что оно изображает, оно должно вносить человеческую мысль... Все те явления жизни, которые изображает граф Толстой в своем романе, по большей части принадлежат к чувственным элементам человеческой природы, и так как изображения эти не одухотворены никакой мыслью, или если и проглядывает кое-где какая-нибудь мысль, то слишком мелкая и вялая, чтобы увлечь и занять вас, — то все подобного рода явления и возбуждают в вас одно омерзение... Но верх омерзения представляет изображение любви Анны Карениной и Вронского. Граф Толстой возводит Анну Каренину и Вронского на ходули героизма; их плотоядную похотливость представляет в виде какой-то колоссальной роковой страсти...»

Подобные выпады Лев Николаевич попросту игнорировал.

Работу над «Анной Карениной» Толстой закончил лишь в конце мая того же года. Однако заключитель-

ная часть «Анны Карениной» не появилась в «Русском вестнике», где печатались все предыдущие. Причиной послужило то, что редактор «Русского вестника» Катков не разделял выраженных в окончании романа взглядов на добровольческое движение в пользу восставших сербов и стал упрашивать автора смягчить некоторые места, а какие-то вычеркнуть совсем.

Места, в общем-то, были совершенно не крамольные. Вот, например: «Резня единоверцев и братьев славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям. И героизм сербов и черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом».

Толстой взъярился и наотрез отказался вносить в текст правки. Он отобрал у «Русского вестника» рукопись последней части романа и, следуя совету Страхова, выпустил ее отдельным изданием в знакомой уже типографии Риса. Книжка вышла в начале июля. Уязвленный Катков попытался устроить Толстому пакость, напечатав от имени редакции в пятом номере «Русского вестника» за 1877 год следующую заметку: «В предыдущей книжке под романом “Анна Каренина” выставлено: “Окончание следует”. Но со смертью героини собственно роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский в смущении и горе после смерти Анны отправляется добровольцем в Сербию и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа».

Эта выходка не так уж сильно расстроила Льва Николаевича. По свидетельству Татьяны Кузминской он

«позлился три дня... и потом решил, что смиренномудрие — главное». Сохранилось полное сарказма письмо, написанное Толстым под впечатлением поступка Каткова в редакцию газеты «Новое время», но так и не отправленное. «Это мастерское изложение последней, ненапечатанной части “Анны Карениной”, — говорилось в нем, — заставляет пожалеть, зачем редакция “Русского вестника” в продолжение трех лет занимала так много места в своем журнале этим романом. Она могла бы с такою же грациозностью и лаконичностью рассказать и весь роман не более как в десяти строчках».

Верный друг Страхов одобрил поведение Толстого. «Я видел, как Вы приняли первую выходку Каткова, — писал он, — как взволновались и потом прогнали от себя дурное чувство. Очень мне это понравилось».

Софья Андреевна не смогла остаться в стороне. Она написала в «Новое время» свое письмо, правда анонимное, за подписью «Г. С. ***». Письмо было опубликовано. В нем, в частности, говорилось: «Так как я считаю весьма неудовлетворительным лаконическое изложение не приобретенного, но прочтенного редакцией конца романа, то в утешение всем нам, читательницам и читателям, могу сообщить из самых верных источников, что последние главы печатаются отдельной книжкой и появятся в самом непродолжительном времени».

«Мы все одобряли, и Левочка остался доволен», — писала о поступке сестры Татьяна Кузминская.

Окончательный вариант романа «Анна Каренина» вышел в трех томах в 1878 году. Заканчивался он мыслями Левина: «...так же буду спорить, буду нехотать высказывать свои мысли, так же будет стена между святой святых моей души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаи-

ваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, — но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, какую была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»

В сознании Толстого начал происходить перелом.

Глава шестнадцатая

НА ПЕРЕЛОМЕ

Росла слава, росли доходы (литература приносила больше денег, нежели все имения вместе взятые), перестали умирать один за другим близкие, а счастья все не было. Да и мог ли Лев Толстой вообще чувствовать себя счастливым, когда в душе его происходила перманентная борьба противоречий. Неважно — каких, неважно — почему, важно, что происходила...

Время от времени уставшая душа начинала требовать покоя, и он приходил, облакаясь в одежды равнодушия — Толстого все чаще и чаще начинали посещать приступы апатии. Уже не было того страха, который он испытал в Арзамасе, его место заняло сознание тщетности бытия.

О своих чувствах Лев Николаевич подробно писал в «Исповеди»: «...на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?»

Он пытался бороться, отгонял дурные мысли, но они неукоснительно возвращались. «Сначала мне казалось, что это так — бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно и что, если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, — что теперь только мне некогда этим за-

ниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно».

Отрицание сменилось попыткой разобраться в происходящем. «Я понял, что это — не случайное недоумование, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским именем, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю — зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!..»

Можно представить, насколько тяжело давались подобные вопросы, вернее — не сами вопросы, а поиски ответа на них, человеку неумной энергии, не привыкшему сидеть сложа руки.

Всю жизнь у Толстого была цель. Пусть не всегда ясная, пусть — переменчивая, пусть — недостижимая, но — была. Была! И вдруг ее не стало.

Не стало цели, и не было ответа на страшные вопросы.

«И я ничего и ничего не мог ответить», — горько заключает Толстой.

Он не заигрывал с читателями, не кокетничал, не пытался создать себе образа страдающего мыслителя. Он писал правду. Все было именно так — пятидесятилетний жизненный путь вдруг взял и закончился тупиком.

«Жизнь моя остановилась, — писал Толстой. — Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это — обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти — полного уничтожения».

Выход из тупика, выход из положения, в которое завела Толстого жизнь, был всего один — в небытие.

«Жизнь мне опостылела — какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение».

Торопиться не следовало — прежде надо было разобрататься в ситуации. Однако соблазн был так велик, что Лев Николаевич поспешил убрать из своей комнаты шнурок, чтобы ненароком в один из вечеров, готовясь ко сну, не забыться сном вечным, повесившись на перекладине между шкафами. Заодно он перестал ходить на охоту, чтобы, по собственному признанию, «не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни» при помощи ружья.

«Я сам не знал, чего я хочу, — признавался Лев Николаевич, — я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее».

Ему мерещился чей-то посторонний, или, правильнее будет — потусторонний взгляд, сама вечность наблюдала за его муками, всячески над ним потешаясь. «Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, — как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. А ему смешно...»

Тому, неведомому и незримому было смешно, а самому Толстому не хотелось ни смеяться, ни плакать. Но и покоряться было нельзя, покорность вообще была не в характере Льва Николаевича. До сих пор он жил так, как ему хотелось, пусть и не всегда бывая образцом для подражания, но жить свободно еще не означает жить правильно. Теперь же все, что у него было, оказалось пустым, никчемным, призрачным. И больше не могло быть ничего...

Подпорки, на которых держался мир, зашатались и рухнули.

Слабый человек, оказавшись в подобной ситуации, не нашел бы ничего лучшего, чем повеситься или застрелиться, но Толстой никогда не был слабым. Даже в минуты душевного упадка он оставался волевым человеком. Его волю можно было подавить на некоторое время, но сломать ее было нельзя.

Ни один из признанных мудрецов, будь то Платон, или весьма уважаемый Толстым Шопенгауэр, не мог дать ответа на вопрос: «Зачем?» Чем проще вопрос, тем труднее на него ответить. Вскоре Толстой разочаровался в той мудрости, которую накопило человечество, мудрости, которая при пристальном рассмотрении оказалась и не мудростью вовсе, а так — игрой слов и мысли. Толстой писал: «Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? — несколько раз говорил я себе. — Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям. И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, — искал, как ищет погибающий человек спасенья, — и ничего не нашел».

И не просто не нашел, а разочаровался. «Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что

все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние — бессмыслица жизни, — есть единственное несомненное знание, доступное человеку».

«Вопрос мой, — продолжал свою “Исповедь” Толстой, — тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, — тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: “Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, — что выйдет из всей моей жизни?”»

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежно предстоящей мне смертью?»

На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один — отрицательный, другой — положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни».

От науки Толстой перешел к религии, пытаясь обрести желаемое в вере. «Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня».

Свидетельства живых людей были для него во многом важнее мудрости книжной. «Я, естественно, обра-

тился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни».

Откровение пришло неожиданно — во время прогулки. То ли сказался погожий весенний день, то ли, исчерпав все возможности, разум ухватился за самое простое объяснение. «Жизнь мира совершается по чьей-то воле, — понял он, — кто-то эту жизнь всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее — делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее — чего хотят от всех нас и от всего мира».

Сумев «освободиться от соблазна праздного умствования» Лев Николаевич понял, что «Бог есть жизнь».

Обретя утраченную было веру, Толстой вернулся к жизни. Теперь он уже не осуждал, как раньше, церковные догматы, не устранился от участия в богослужениях, не игнорировал больше посты. Напротив — он молился несколько раз в день, исправно посещал церковные службы, постился, исповедовался, верил.

«Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, — писал он, — так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая — та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере

в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, т. е. я вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить».

Скорее всего он продолжал присматриваться к себе, любоваться и, быть может, даже восхищаться собой, своей решимостью, своей способностью в корне изменить жизнь, и даже своим смирением, прежде совершенно ему не свойственным.

Софья Андреевна приветствовала перемену, случившуюся с мужем. Будучи человеком глубоко верующим, она все никак не могла смириться с поведением мужа, довольно прохладно относившегося к религии. Теперь же, когда со Львом Николаевичем произошли столь значительные перемены, можно было надеяться и на большее. На лучшее.

Бедная Софья Андреевна! Всю жизнь она надеялась на то, что вот-вот, очень скоро, чуть ли не со дня на день, отношение мужа к ней и к детям изменится в лучшую сторону, и надежды эти все никак не сбывались. «Идеи новые Льва Николаевича испортили мою жизнь и жизнь моих детей: и сыновей и дочерей, — жаловалась Софья Андреевна. — Ломка всей их юной жизни сильно повлияла и на их душевную и на физическую жизнь. Худенькая, слабая Маша надорвала в непосильной работе и вегетарианстве свои последние силы и здоровье. У Тани было больше чувства самосохранения, но и она пострадала от резкого отрицания всего, что отрицал

отец. Сыновья же не имели руководителей в лице отца, а тоже только порицателя. Хорошо пишет об этом Таня в своих дневниках, приводя свой разговор с отцом, что она отлично понимает всю истину учения отца, что она любит все хорошее. Но когда говорят об этом, ей скучно, а когда она вспомнит о новом платье, о выездах, у ней так и вспрыгнет сердце от радости».

И вот еще о муже и детях: «Много было хорошего в стремлениях наших детей, но почему-то Лев Николаевич не видал или не хотел видеть их, так как дети шли своим путем, а Льву Николаевичу хотелось бы их согнуть по своим новым идеям. Он сердился на них, что особенно видно из его дневника 3 сентября 1890 года, в котором он пишет о своем недовольстве детьми, и дальше: “Но кто же они? Мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал, какими они есть. Это мои грехи — всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя. Надо их просвещать, а я этого не умею, я сам плох”».

В июле 1877 года Лев Николаевич в компании Стрехова совершил паломничество в Оптину пустынь, одно из самых излюбленных православными паломниками мест. В то время жил там старец Амвросий, духовный преемник знаменитых своим благочестием старцев Леоноиды и Макария. К Амвросию обращались за советом многие — от придворных дам до нищих. Считалось, что старец умен и прозорлив.

Разумеется, Лев Николаевич не мог не встретиться с Амвросием, однако, вопреки ожиданиям, старец ему не понравился. Амвросий не пожелал беседовать с Толстым о Евангелии, на вопросы отвечал нехотя, чуть ли не сквозь зубы. Беседы не получилось, однако польза от встречи была — Толстой убедился в том, что простой народ куда ближе к Богу, чем избранные праведники. Ему было с чем сравнивать — он подолгу и с удоволь-

ствием беседовал с крестьянами, то и дело находя в их речах крупинцы мудрости.

Вернувшись домой, Толстой провел несколько месяцев в раздумьях, а на Рождество засел за философско-религиозный труд, призванный подтвердить необходимость религии и показать ее место в жизни человека, но очень скоро вдруг вернулся к мысли написания романа, посвященного восстанию декабристов. Роман задуман им как беспристрастный, лишенный авторских симпатий и антипатий. Лев Николаевич собирается писать, «никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать». «Надобно, чтоб не было виноватых», — пишет он Александре Толстой 14 марта 1878 года, а в одном из последующих писем добавляет: «Большое счастье, которое, сколько я знаю, и вы имеете, — не принадлежать к партии и свободно жалеть и любить и тех, и других».

Толстой пишет первую главу. 1 ноября Софья Андреевна зафиксировала в дневнике радостное для нее событие: «Вчера утром Левочка мне читал свое начало нового произведения. Он очень обширно, интересно и серьезно задумал. Начинается с дела крестьян с помещиком о спорной земле, с приезда князя Чернышева с семейством в Москву, закладка храма Спасителя, богомолка — баба-старушка и т. д.». Не в силах сдержать свою радость, на следующий день она сообщила Страхову: «Начало нового произведения написано; работа умственная Льва Николаевича идет самая усиленная, а план нового сочинения, по-моему, превосходен». В тот же день о начале нового романа была поставлена в известность Татьяна Кузминская: «Левочка... теперь совсем ушел в свое писанье. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно неспособен думать».

Новый роман, новая работа, новые доходы... Как тут не радоваться? К тому же у занятого делом Льва Николаевича заметно улучшается характер.

Как всегда, периоды творческого подъема сменялись состоянием упадка. В конце марта 1879 года Софья Андреевна писала Татьяне Кузьминской: «Левочка весь очень ослабел, и желудок, и силы, и расположение духа, и к простуде стал подвержен, и, главное, не может писать и работать, и это ему отравляет жизнь... Он очень желает ехать на кумыс, и, кроме того, мы купили там еще 4000 десятин земли и новый хутор, на котором и будем жить, и вот эта покупка его занимает и устройство тамошнего хозяйства. А здесь его ничто не интересует, он такой стал вялый и безучастный ко всему, и я решила ехать на кумыс».

По причине все возрастающего интереса к религии, «Декабристы» так и «вышли в отставку» незаконченными. 17 апреля 1879 года Толстой писал Фету: «“Декабристы” мои Бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал, и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества».

«Роман» Толстого с церковью длился около двух лет. Но стоило Льву Николаевичу принять душой религию со всеми ее атрибутами, как он тотчас же начал находить в ней противоречия и неувязки.

Он никогда не мог смешиваться с толпой, не мог слепо подчиняться правилам, не им установленным, он не мог отказаться от привычки сомневаться, от потребности думать, рассуждать.

В мае 1878 года Толстой писал в дневнике: «Был у обедни в воскресенье. Подо все в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но многая лета и одоление на врагов есть кощунство. Христианин должен молиться за врагов, а не против их».

«Когда мне предание... говорит: "будемте все молиться, чтобы побить побольше турок" ...тогда, справляясь не с разумом, но с хотя и смутным, но несомненным голосом сердца, — я говорю: это предание ложное», — писал он Страхову.

Принимая моральные принципы, изложенные в Евангелии, Толстой в то же время отказывался верить в воскресение Христа совершенно так же, как отказывался верить во все прочие чудеса христианства. «Подкреплять учение Христа чудесами, — писал он в записной книжке, — то же, что держать при солнце зажженной свечу, чтобы лучше видеть».

Обрядовая сторона православия и христианства вообще тоже вызвала нарекания у Толстого. «Чем безумнее занятие, которым занимаются люди, тем важнее лицо, которое они при этом делают. «Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа, — спустя много лет написал он в "Исповеди". — Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каюсь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения... Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это — жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера... И зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз».

Все дальше и дальше отходя от догматического и обрядового учения христианской церкви, Толстой все ближе подходил к нравственным основам христианства. Он писал Страхову, что считает учение Христа «высшей истиной, которую мы знаем», «наивысшим выражением абсолютного добра». «Если б не было учения христианства, — утверждал Толстой, — которое вкоренилось веками в нас и на основании которого сложилась вся наша общественная жизнь, то не было бы и законов нравственности, чести, желания распределить блага земные более ровно, желания добра, равенства, которое живет в этих людях».

Отход от церкви был громким, во многом демонстративным, эпатажным. Короче говоря — «толстовским». Когда-то давно Лев Николаевич винил в своей неудавшейся военной карьере князя Барятинского, подавшего ему мысль о поступлении на военную службу. Теперь он сводил счеты с церковью, с религией, мстя ей за то, что два года без всякой, как ему казалось, пользы для себя, хранил ей верность.

Начав с демонстративного поедания мясных котлет в среду, день постный, он продолжает борьбу с помощью единственного оружия, которым владеет в совершенстве, — ударяет по церкви словом.

Начинается с записных книжек.

«Церковь, начиная с конца и до III века, — ряд лжи, жестокостей и обманов. В III веке скрывается что-то высокое. Да что же такое есть? Посмотрим Евангелие. Как мне быть? Заповеди. Вот вопрос души — один. Как были другие? Как?»

«Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему — птица живая та, которая летает... Вера отрицает власть и правительство — войны, казни, грабеж, воровство, а это все сущность пра-

вительства. И потому правительству нельзя не желать насилловать веру. Если не насилловать — птица улетит».

«Церковная история — насилие, зло, ненависть, гордость».

«Христианство насилковано при Константине, при разделении Запада и Востока».

Знаменитый писатель превратился в сурового пророка-обличителя, от которого в первую очередь страдали его домашние. Очень скоро понятия «отец» и «веселье» стали несовместимыми для детей Толстых. Софье Андреевне давно уже было не до веселья. С замиранием сердца ждала она новых напастей, гадая, насколько далеко может завести Льва Николаевича по новому пути его кипучая, неугомонная натура. Нападки на религию больно ее ранили, но возражать она не смела — знала, что возражениями мужа не образумить.

В январе 1880 года, оказавшись в Петербурге, Лев Николаевич встретился с тетушкой Александрой Андреевной и ознакомил ее со своими новыми взглядами, чем привел добродушную пожилую женщину в совершенное негодование. «В моей душе открылось окно, — в это окно я вижу Бога, и затем, мне ничего, ничего более не нужно», — заявил Лев Николаевич. «Сердце мое билось молотком, — вспоминала Александра Толстая. — Но когда Лев стал мне доказывать не только бесполезность, но и вред, приносимый церковью, и дошел, наконец, до того, что отрицал божественность Христа и спасение через Него, я готова была плакать и рыдать... Между нами, действительно, завязалась борьба, продолжавшаяся целое утро».

Между ними завязался ожесточенный спор, во время которого Толстой, не сдержавшись, выскочил вон, громко хлопнув напоследок дверью. Вскоре племянник и тетушка помирились по переписке, но неприятный осадок в душе остался у обоих. О былом «родстве

душ», возбуждавшем когда-то столь сильную ревность у Софьи Андреевны, можно было забыть.

Все вокруг жили неправильно. Отныне и навсегда главной задачей Толстого, целью и смыслом его жизни, стало указание обществу правильного пути. Пути, ведущего к спасению.

В 1879 году была написана «Исповедь».

В 1880 — «Критика догматического богословия».

В 1882 — «Соединение и перевод четырех Евангелий».

В 1883 — «В чем моя вера?».

«Левочка все работает, как он выражается, — жаловалась Татьяне Кузминской Софья Андреевна, — но увы! он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы доказать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего. Я одного желаю, чтоб уж он поскорее это кончил, и чтоб прошло это, как болезнь. Им владеть, предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен».

Софью Андреевну можно понять. Новые труды Толстого расходились в списках или же печатались за границей мизерными тиражами. О гонорарах можно было забыть. Хорошим подспорьем оставались «Война и мир» с «Анной Карениной», но семья росла, дети выросли, расходы возрастали, и денег требовалось все больше и больше.

12 марта 1881 года Софья Андреевна писала сестре: «У нас в доме некоторый разлад, который я выношу трудно».

22 апреля она снова жалуется Татьяне: «У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году, я даже хотела уехать из дому. Верно это потому, что христи-

ански жить стали. По-моему, прежде без христианства этого много лучше было».

Софья Андреевна имела в виду не христианство вообще, а христианство, исповедуемое ее мужем. Сложный процесс перелома в миросозерцании Толстого был мучительным для нее, а последствия этого процесса оказались и того хуже. Тяжелое, если не болезненное, душевное состояние Льва Николаевича усугублялось замкнутостью яснополянской жизни, и замкнутость эта отдавала всех домашних во власть его новых взглядов. 3 марта 1881 года Софья Андреевна писала Татьяне, что их брат Александр Андреевич, гостивший в Ясной Поляне, нашел во Льве Николаевиче «перемену к худшему, т. е. боится за его рассудок». От себя Софья Андреевна добавила, что «религиозное и философское настроение» ее мужа — «самое опасное».

Оно и впрямь было опасным — чувство ужаса перед коренной ломкой всех сложившихся условий и принципов семейной жизни охватило едва ли не всех домочадцев Толстого. Его принципы труда и предельного упрощения быта были решительно отвергнуты Софьей Андреевной. Она редко осмеливалась противодействовать начинаниям мужа, но здесь проявила неожиданную твердость, ведь речь шла о благополучии ее детей. Брат Софьи Андреевны Степан Берс писал в своих воспоминаниях, что Софья Андреевна «вполне разделяет убеждения мужа, считая его далеко опередившим свой век, и поэтому она продолжает поклоняться его гению и идеям; но перестать воспитывать младших детей по-прежнему, когда старшие уже воспитаны так, и когда никто в обществе не признает нового взгляда ее мужа на воспитание, она считает несправедливым по отношению к младшим детям, а потому и продолжает воспитывать их в прежнем духе. Точно так же раздать состояние чужим людям и пустить детей по миру, когда

никто не хочет исполнять того же, она не только не находит возможным, но и считала своим долгом воспрепятствовать этому как мать...»

«Жена Льва Николаевича, чтобы сохранить состояние для детей, готова была просить власти об учреждении опеки над его имуществом, когда он хотел раздать его посторонним», — писал далее Степан Андреевич.

Сама же Софья Андреевна 25 октября 1886 года гневно писала в дневнике, что от нее требуют «того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенная энергии женщина, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений».

Разрыв Толстого с учением православной церкви обернулся его разрывом с семьей, с женой и детьми.

Софья Андреевна отказалась и от роли постоянной переписчицы сочинений мужа, той самой роли, которая когда-то так ей нравилась. Произошло это во время работы Толстого над «Исследованием догматического богословия». Софья Андреевна переписала несколько страниц, пока не поняла, что это произведение Льва Николаевича представляет собой критику основ православной веры. Она вернула рукопись вместе с переписанными ею листами мужу, сказав: «На тебе! Кому хочешь давай, я эту гадость переписывать не стану!»

В «Моей жизни» она писала: «Злобное отрицание православия и церкви, брань на нее и ее служителей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, — все это было невыносимо.

Я тогда еще сама переписывала все, что писал и переправлял Лев Николаевич. Но раз, я помню, это было в этом 1880 году, я писала, писала, и кровь подступала мне в голову и лицо все больше и больше, негодование поднялось в моей душе, я взяла все листы и снес-

ла к Льву Николаевичу, объявив ему, что я ему больше переписывать не буду, не могу — я слишком сержусь и возмущаюсь».

Возмущалась не только Софья Андреевна — возмущались многие.

Лев Николаевич явно был доволен, ведь плох тот пророк, в которого не летят камни. Камни являются доказательством того, что слова пророка задевают потаенные струны в душах людей, ворошат сокровенное.

Глава семнадцатая

ПРОРОК

Новая жизнь была насыщенной до предела. Граф читал философские труды, писал статьи, разрабатывал свою знаменитую теорию непротивления злу насилием, поучал жену и детей, косил траву, рубил дрова и даже выучился шить сапоги. Тем, кто выражал удивление, Лев Николаевич с удовольствием объяснял, что никому не пристало пользоваться плодами чужого труда, ничего не производя взамен. Доходило до курьезов — Михаил Сухотин, будущий муж дочери Татьяны, поставил подаренные Львом Николаевичем сапоги в своей библиотеке рядом с двенадцатитомным собранием сочинений Толстого, повесив на них ярлык: «Том XIII».

Софья Андреевна очень огорчала мужа тем, что совершенно не разделяла его взглядов. Она сильно изменилась, настолько, что даже посмела восстать против главного (во всяком случае — по мнению Льва Николаевича) своего предназначения — рождения потомства.

Забеременев в очередной раз в начале 1884 года (при всех разногласиях плотский интерес Толстой проявлял к супруге исправно), Софья Андреевна решила от беременности избавиться. Она устала рожать, выкармливать, выхаживать... Втайне от Толстого Софья Андреевна обратилась к одной из тульских акушеров с просьбой сделать аборт, но та не пожелала иметь дело с супругой графа Толстого, опасаясь крупных неприятностей в случае каких-либо осложнений. Будущая мать попробовала было обойтись народными средства-

ми (горячая ванна с горчицей, прыжки с комода), но в итоге ей пришлось рожать.

В письме к сестре Татьяне Софья Андреевна выражала недовольство тем, что еще одно лето, лучшее, в ее представлении время года, она будет вынуждена провести в постели. Софья Андреевна жаловалась на часто посещающее ее чувство полной безнадежности, граничащей с отчаянием, от которого попросту хочется выть, и тут же добавляла, что больше не намерена кормить грудью, а хочет взять кормилицу.

«Она очень тяжело душевно больна. И пункт это беременности. И большой, большой грех и позор», — писал в дневнике Толстой.

И еще из дневников той поры:

«Пошел к девочкам. У них спасаюсь от холодности и злобы».

«Та же злость. Я как во сне, как [у] Хлудова (современник Толстого, богатый московский купец Хлудов потехи ради держал у себя в доме тигра. — А.Ш.), когда знаю, что ходит тигр, и вот, вот».

«...Пытался говорить с женой. По крайней мере без злобы. Вчера я лежал и молился, чтобы Бог ее обратил. И я подумал: что это за нелепость. Я лежу и молчу подле нее, а Бог должен за меня с нею разговаривать. Если я не умею поворотить ее, куда мне нужно, то кто же сумеет?»

«Опять волнение души. Страдаю я ужасно. Тупость, мертвенность души — это можно переносить, но при этом дерзость, самоуверенность. Надо и это уметь снести, если не с любовью, то с жалостью. Я раздражителен, мрачен с утра. Я плох».

«Разговор за чаем с женой. Опять злоба».

«Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело... Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими».

«Не могу найти обращения с женой такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей. Ищу. Стараюсь».

На фоне все возрастающего разлада с женой Лев Николаевич все больше сближается с дочерьми:

«Говорил с Таней дочерью хорошо».

«Безнравственная праздность детей раздражает меня, — записывает Толстой в дневнике 8 июня 1884 года. — Разумеется, нет другого средства, как свое совершенствование, а его-то мало. Одна Маша». На следующий день он добавляет: «Та же подавляющая общая праздность и безнравственность, как что-то законное».

Масла в огонь подлило намерение Толстого употребить доходы от самарских имений на нужды тамошних крестьян. Софья Андреевна воспротивилась такому решению, находя его безответственным. Лев Николаевич настаивал на своем... 11 июня он писал в дневнике: «Вечером жестокий разговор о самарских деньгах. Стараюсь сделать как бы я сделал перед Богом, и не могу избежать злобы».

«Это должно кончиться», — многозначительно добавляет он, явно обдумывая план своего ухода из семьи.

Вечером 17 июня 1884 года Софья Андреевна снова начала упрекать Льва Николаевича в том, что все его затеи оборачиваются убытками для семьи. По свидетельству самой Софьи Андреевны, «спор принял характер злобный, а так как отношения наши и так стали гораздо хуже, мы ни на чем не примирились».

Толстой наведаясь в свой кабинет, набил вещами холщовый мешок и быстрым шагом пошел по аллее прочь от дома. Жена догнала его и спросила, куда он направился. «Не знаю, куда-нибудь, может быть в Америку, и навсегда. Я не могу больше жить дома», — сердито ответил Лев Николаевич. Софья Андреевна

попыталась вернуть его, напомнив о предстоящих ей вскоре родах, но Толстой не стал ее слушать.

Волнение спровоцировало родовые схватки. В пятом часу утра Софье Андреевне доложили, что муж вернулся и лег спать. «Я вскочила с постели и несмотря на уговоры акушерки, пошла вниз, — вспоминала она. — Лев Николаевич лежал не раздетый на диване с злым лицом и ничего не сказал мне». Он злился на себя, на свое чувство долга, которое помешало ему уйти. «Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу», — записал он в дневнике.

Спустя два часа Софья Андреевна родила «прекрасную девочку с темными длинными волосами и большими синими глазами», которую назвали Александрой. Это был двенадцатый ребенок в семье Толстых.

24 июня Толстой писал в одном из писем: «Жена родила девочку. Но радость эта отравлена для меня тем, что жена, противно выраженному мною ясно мнению, что нанимать кормилицу от своего ребенка к чужому есть самый нечеловеческий, неразумный и нехристианский поступок, все-таки без всякой причины взяла кормилицу от живого ребенка. Все это делается как-то не понимая, как во сне. Я борюсь с собой, но тяжело, жалко жену».

Днем раньше он записал в дневнике: «Жена очень спокойна и довольна и не видит всего разрыва. Стараясь сделать как надо. А как надо — не знаю. Надо сделать как надо всякую минуту, и выйдет как надо все».

«Если бы в то время Лев Николаевич приласкал меня, — писала Софья Андреевна, — помог бы мне в делах, попросил бы меня опять самой кормить ребенка, я, разумеется, с радостью склонилась бы на это. Но он неизменно был суров, строг, неприятен и так чужд, как никогда. Целые дни он проводил вне дома и тогда

в июне косил траву наравне с мужиками... На заре он опять уходил косить, — и так все лето мы его почти никогда не видели».

«Она начинает плотски соблазнять меня, — писал Толстой в дневнике 7 июля. — Я хотел бы удержаться, но чувствую, что не удержусь в настоящих условиях. А сожитие с чужой по духу женщиной, то есть с ней — ужасно гадко... Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей. Должно быть, так надо. Выучиться не тонуть с жерновом на шее».

11 июля Софья Андреевна жаловалась в письме к Александре Толстой: «До сих пор не писала вам по многим причинам: здоровье мое поправляется медленно, а душа никогда не спокойна. Никогда еще Левочка не был в таком крайнем настроении, и никогда еще не было так трудно найти точку, на которой мы могли бы, делая взаимные уступки, сойтись. А разлад без всякой причины, кроме выдуманных и отвлеченных, особенно после 22-летнего согласия, очень тяжел. Видно, я в чем-нибудь очень грешна перед Богом, что приходится это переживать. Простите меня, что я вам все это пишу; очень часто хочется у кого-нибудь совета спросить. Смешно то, что когда он кому-нибудь пишет, то тоже жалуется. А где несчастье? Ведь оно только выдуманно и совсем не осязаемо».

«Кажется, что в этот день я звал жену, и она, с холодной злостью и желанием сделать больно, отказала, — несколькими днями позже жаловался дневнику Толстой. — Я не спал всю ночь. И ночью собрался уехать, уложился и пошел разбудить ее. Не знаю, что со мной было: желчь, похоть, нравственная измученность, но я страдал ужасно. Она встала, я все ей высказал, высказал, что она перестала быть женой. Помощница мужу? Она уже давно не помогает, а мешает. Мать детей? Она не хочет ею быть. Кормилица? Она

не хочет. Подруга ночей. И из этого она делает заманку и игрушку. Ужасно тяжело было, и я чувствовал, что праздно и слабо».

«Напрасно я не уехал, — заключает он. — Кажется, этого не минуя. Хотя ужасно жаль детей. Я все больше и больше люблю и жалею их».

Спустя некоторое время Толстой составил план своей дальнейшей жизни. И не только своей собственной, но и всей своей семьи. Разумеется — по своему лишь усмотрению, никого не спросив.

Согласно этому плану жить семейству Толстых полагалось в Ясной Поляне. Доход от самарских имений отдавался на нужды бедных, так же как и доход от Никольского, где землю планировалось передать в аренду крестьянам. Семье оставался доход от Ясной Поляны, колебавшийся в зависимости от года между двумя и тремя тысячами рублей. «Оставить на время, — писал Толстой, — но с единственным желанием отдать и его весь другим, а самим удовлетворять самим себя, т. е. ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы и в чем видеть цель и радость жизни...» И пояснял: «Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас, и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе: мужчинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых... По воскресеньям обеды для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда — все самое простое. Все лишнее: фортепьяно, мебель, экипажи — продать, раздать. Наукой и искусствами заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми, от губернатора до нищего, одинаково».

Вдохновленная примером вдовы Достоевского, самостоятельно издававшей произведения своего покойного мужа, Софья Андреевна решила последовать ее примеру и заняться изданием книг Льва Николаевича, чтобы весь доход от их продажи шел в семью.

Муж проповедовал, что «Ученик Христа будет беден... Быть бедным, быть нищим, быть бродягой... это то самое, чему учил Христос, — то самое, без чего нельзя войти в царство Бога, без чего нельзя быть счастливым здесь на земле», а жена тем временем изыскивала средства.

Имущество тяготило. Был найден компромисс — в мае 1883 года Толстой выдал жене доверенность на ведение всех его имущественных дел. Передача авторских прав в ней особо не оговаривалась, но логически вытекала из слов: «Для исполнения всего этого Вы имеете: ...вообще получать всякие мне следующие суммы отовсюду». Пользуясь этой доверенностью, Софья Андреевна издавала сочинения мужа вплоть до последнего года его жизни.

В 1891 году Лев Николаевич опубликовал в газетах заявление, в котором всем желающим разрешалось безвозмездно переиздавать, переводить и ставить на сцене все его произведения, написанные после 1 января 1881 года, после его «второго рождения». Таким образом в распоряжении Софьи Андреевны осталась лучшая часть творчества мужа: «Война и мир», «Анна Каренина», «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы», «Казачьи».

«Не понимает она, и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и нами, есть страдание, позор мой, — сокрушался Толстой. — Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь ис-

тины. Видно, так надо. И без меня истина сделает свое дело».

Для самостоятельного издания произведений Льва Николаевича потребовались деньги. Софья Андреевна заняла двадцать пять тысяч рублей, десять из которых получила от своей матери, Любови Александровны. Дело быстро пошло в гору...

Толстой был недоволен тем, что его жена наживает на его же произведениях, которые он считал подарком человечеству, но — приходилось смиряться. Ведя «аскетический» образ жизни — простая мебель, мужицкая одежда, вегетарианская пища — Лев Николаевич тем не менее нуждался в услугах поваров, лакеев, прачек, конюхов, не говоря уже о том, что он любил послушать игру на фортепьяно и постоянно пополнял свою библиотеку... На все требовались деньги, и довольно большие, но «граф-мужик» предпочитал этих «меркантильных обстоятельств» не замечать.

Софья Андреевна сильно изменилась в душе. Если раньше она была хранительницей домашнего очага, то теперь стала его спасительницей. Нет больше заискивания перед мужем, нет уступок, нет повинования. Былые иллюзии рассеялись, уступив место пониманию того, сколь чудовищную ошибку совершила она двадцать два года назад, выйдя замуж за совершенно чужого ей человека.

В начале декабря 1984 года Толстой в письме к жене, жившей с детьми в Москве, выразил восхищение крестьянскими детьми и получил в ответ гневное: «Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женись на мне, ты вышел. Я — городская, и как бы я ни рассуждала и ни стремилась любить деревню и народ, любить я это всем своим существом не могу и не буду никогда; я не по-

нимаю и не пойму никогда деревенского народа. Люблю же я только природу и с этой природой я могла бы теперь жить до конца жизни и с восторгом. Описание твое деревенских детей, жизни народа и проч., ваши сказки и разговоры — все это, как и прежде, при яснополянкой школе, осталось неизменно».

В завершение Софья Андреевна подпустила шпильку, больше похожую на занозу: «Но жаль, что своих детей ты мало полюбил; если б они были крестьянкины дети, тогда было бы другое».

В начале 1887 года Лев Николаевич слегка отмяк. «Он очень переменился, — записала Софья Андреевна в дневнике 6 марта 1887 года, — спокойно и добродушно смотрит на все. Принимает участие в игре в винт, садится опять за фортепьяно и не приходит в отчаяние от городской жизни».

Весной 1888 года Софья Андреевна родила последнего, тринадцатого по счету ребенка, которого назвали Иваном. Несколькими днями позже счастливый шестидесятилетний отец ушел пешком из Москвы в Ясную Поляну. Жена в первом же письме поделилась беспокойством по поводу новорожденного, который плохо брал грудь и оттого выглядел истощенным, на что Лев Николаевич беспечно ответил: «Не скучай ты, голубушка, об Иване и не тревожь себя мыслями. Дал Бог ребеночка, даст ему и пищу... Мне так хорошо, легко и просто и любовно с тобой, так и тебе, надеюсь...»

Отношение его к детям, как и его отношения с детьми, всегда были непростыми и оставляли желать лучшего.

Льва Николаевича очень раздражало то, что его старшие сыновья не разделяли его взглядов. Немного утешали дочери — Татьяна и Мария, особенно Мария, похожая на отца как обликом, так и духом. Мария значительно раньше Татьяны приняла отцовские

призывы к вегетарианству, физическому труду и благотворительности. «Приехала Маша. Большая у меня нежность к ней, — писал в дневнике Лев Николаевич и уточнял — К ней одной. Она как бы выкупает (искупает. — А.Ш.) остальных».

Постепенно Маша и Таня стали исполнять при отце роли секретарей и переписчиц. Софья Андреевна, некогда сама отказавшаяся от переписывания произведений мужа, изнывала от ревности. «Бывало, я переписывала, что он писал, и мне это было радостно, — писала она в ноябре 1890 года. — Теперь он дает все дочерям и от меня тщательно скрывает. Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно... Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь».

Ее муж в то время додумался до того, что правильная жизнь несовместима с жизнью половой. «Каждому надо попробовать не жениться, а уж если женился, жить с супругой как брат с сестрой... — писал Толстой одному из своих единомышленников в ноябре 1888 года. — Вы возразите, что тогда придет конец роду человеческому? Велика беда! Допотопные животные исчезли с лица земли, человеческие животные исчезнут тоже... У меня так же мало жалости к этим двуногим животным, как к ихтиозаврам...»

Лев Николаевич пишет «Крейцерову сонату» — пафосное обличение сладострастия. Ему ненавистна сама мысль о том, что женщина может иметь власть над ним, над его чувствами и помыслами, вызывая в нем желание близости.

В «Войне и мире» воспевалась чистая искренняя любовь, залог семейного счастья.

В «Анне Карениной» показывалось, что преступная любовь счастья не подарит и снова воспевалось семейное счастье Левина с Кити.

«Крейцера соната» обличает любовь вообще, попутно обличая и Софью Андреевну.

Очень много совпадений с жизнью автора обнаружила жизнь Позднышева, главного героя «Крейцеровой сонаты», который «жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке». Подобно своему создателю Позднышев «гваздался в гное разврата», пока искал девушку, по своей чистоте достойную его.

Как и Толстой, Позднышев перед свадьбой показал невесте свой дневник. «Помню, как, уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное — про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!

Жена Позднышева, как и Софья Андреевна, отказалась самостоятельно кормить их первенца. С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, — доктора эти милые наши, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от бере-

менности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно».

Сложные внутрисемейные отношения Позднышевых схожи с толстовскими: «Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекали каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них».

Схожи и ссоры в обеих семьях: «Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого».

Жена раздражала Позднышева и в то же время притягивала, соблазняла: «Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злости возника-

ли во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злости; энергичский период любви — длинный период злости, более слабое проявление любви — короткий период злости. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его».

В жизнь Позднышевых вклинивается музыкант, скрипач, который не только играет вместе с матерью семейства, аккомпанировавшей ему на фортепьяно, «Крейцерову сонату», но заодно и соблазняет ее. Взревновав, Позднышев убивает неверную.

«— Не лги, мерзавка! — завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была... Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер».

Заканчивается произведение обличением плотской любви, вынесенным в эпиграф к этой книге.

«Крейцера соната» оказалась очень своеобразным подарком Льва Николаевича его жене к их серебряной свадьбе, двадцатипятилетнему юбилею семейной жизни.

Кстати, проповедуя полное, абсолютное, воздержание, сам Лев Николаевич его не придерживался! Напротив — не получив желаемого удовлетворения он становился раздражителен, а получив — добрел на глазах. «Он снова очарователен, весел и нежен, — писала Софья Андреевна о муже в марте 1891 года. — И все, увы, по одной причине. Если бы те, кто читали и чита-

ют «Крейцерову сонату», сумели проникнуть взглядом в любовную жизнь Левочки, они смогли бы увидеть, что делает его веселым и добрым, и свергли бы божество с пьедестала, на который возвели его».

Цензура, находившаяся под влиянием могущественного обер-прокурора Священного Синода Победоносцева, запретила публикацию «Крейцеровой сонаты». Вышло соответствующее распоряжение министра внутренних дел.

В ответ Лев Николаевич написал послесловие к повести, в котором в очередной раз обличал «общее всем сословиям и поддерживаемое ложной наукой убеждение в том, что половое общение есть дело необходимое для здоровья».

«Доказательство же того, что воздержание возможно и менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание, всякий мужчина найдет вокруг себя сотни», писал Толстой. Истинный сын своего времени, он всегда отводил женщинам пассивную роль.

Послесловие вышло длинным и занудливым, как все нравоучения Льва Николаевича. В московском обществе шутя утверждали, что настоящим послесловием к «Крейцеровой сонате» станет очередная беременность Софьи Толстой.

Шутники были не так уж и далеки от истины — Софья Андреевна, регулярно пользовавшаяся вниманием мужа, имела все основания опасаться очередной беременности, что все узнают об этом позоре и со злорадством станут повторять шутку, которая ходит в об истинном послесловии к «Крейцеровой сонате». «Какая видимая нить связывает старые дневники Левочки с его «Крейцеровой сонатой»! — пишет она в дневнике и делает печальный вывод: — А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь».

В ответ на «подарок» мужа Софья Андреевна, желая публично смыть с себя обвинения, высказанные в «Крейцеровой сонате», пишет автобиографическую повесть «Кто виноват?». В основу этой повести лег все тот же сюжет «Сонаты», но рассмотренный с другой, совершенно противоположной, точки зрения.

Главный герой, князь Прозоровский, деспотичный сладострастник (узнаете?) в тридцать пять лет женится на наивной восемнадцатилетней девушке Анне, девушке благородной, переполненной идеалами, и к тому же глубоко верующей.

Еще в качестве жениха князь вожделеет Анну, а после венчания овладевает женой прямо в карете, нанеся ей так и не затянувшуюся в течение всей жизни душевную рану.

Когда же в Анну влюбляется умирающий чахоточный художник, причем влюбляется совершенно платонически, ревнивец Прозоровский убивает несчастную женщину, сохранившую ему верность.

Близким, и в первую очередь сестре Татьяне, с трудом удалось уговорить Софью Андреевну не публиковать свое произведение. Возможности для публикации у графини Толстой были, ведь она в то время являлась издателем романов и повестей своего мужа.

Цензурный запрет на печатание «Крейцеровой сонаты» расстроил Софью Андреевну куда больше, чем самого автора. Ее весьма честолюбивая натура не могла смириться с тем, что кто-то посторонний волен диктовать ее мужу (и ей самой), какие произведения печатать можно, а какие нельзя. Недолго думая, она решила добиться аудиенции у императора Александра III и получить от него разрешение на печать «Сонаты». Лев Николаевич пытался отговорить жену от подобного шага, но безуспешно — недовольство мужа послужило для Софьи Андреевны дополнительным стимулом.

13 апреля 1891 года Софья Андреевна была принята императором в Аничковом дворце и получила от него желаемое разрешение. «Не могу не чувствовать внутреннего торжества, что, помимо всех в мире, было дело у меня с царем, и я, женщина, выпросила то, что никто другой не мог бы добиться, — торжествуя, писала она в дневнике и добавляла спустя несколько дней: — Вот мне и захотелось показать себя, как я мало похожа на жертву, и заставить о себе говорить; это сделалось инстинктивно. Успех свой у государя я знала вперед: еще не утратила я ту силу, которую имела, чтоб привлечь людей стороной симпатии, и я увлекла его и речью и симпатией. Но мне еще нужно было для публики выхлопотать эту повесть».

Софья Андреевна слегка покривила душой, написав далее: «Если б вся эта повесть была написана с меня и наших отношений, то, конечно, я не стала бы ее выпрашивать для распространения».

Лев Николаевич не разделял «женского» триумфа Софьи Андреевны. «Утверждать, что женщина обладает той же душевной силой, что мужчина, что в каждой женщине есть то же, что в мужчине, значит лгать самому себе», — писал он в дневнике 17 июня 1891 года. Ему казалось, что Софья Андреевна одержала победу над ним самим, и простить ей этого было невозможно.

Кстати говоря, у скрипача из «Крейцеровой сонаты» и у художника из повести «Кто виноват?» уже после написания этих произведений появился «прототип» — известный композитор и пианист Сергей Танеев. По выражению Льва Николаевича, ревновавшего к Танееву свою жену, это был «совершенно невежественный человек, усвоивший бывшее новым тридцать лет тому назад эстетическое воззрение и воображающий, что он находится в обладании последнего слова человеческой мудрости».

В дневниках Толстого Танеев упоминается не раз: «Танеев надоел».

«Танеев... противен мне своей самодовольной, нравственной и, смешно сказать, эстетической (настоящей, не внешней) тупостью».

В 1896 году, желая провести лето в Ясной Поляне, Танеев на правах старого знакомого снял за сто тридцать рублей один из флигелей, тот самый, в котором обычно останавливались Кузминские.

Танееву шел сороковой год. Он был невысоким, полным, курносый, — словом, некрасивым, но в то же время каким-то уютным, сразу же при знакомстве располагавшим к себе. А еще Танеев был рассеян, робок и хорошо музицировал. Софью Андреевну, недавно потерявшую младшего сына Ванечку, его игра трогала до слез.

С Танеевым Софье Андреевне было хорошо — он не только душевно играл ее любимого Мендельсона, но и оказался превосходным слушателем. Постепенно дружеская приязнь перешла в совершенно невинную нежность, но этого хватило Льву Николаевичу для ревности.

Софья Андреевна в ответ на упреки мужа заявляла, что он сошел с ума, осмелившись заподозрить ее в романе с мужчиной, годившемся ей чуть ли не в сыновья (Танеев был двенадцатью годами моложе), что она любит одну лишь музыку и ничего более.

Вопреки желанию мужа ее отношения с Танеевым продолжались. Вернувшись с холодами в Москву, Софья Андреевна начала брать у него уроки музыки. Иногда она по-свойски заезжала к нему в гости.

Толстой страдал. «Вчера сижу за столом и чувствую, что я и гувернантка — мы оба одинаково лишние, и нам обоим одинаково тяжело, — записал он в дневнике 12 января 1897 года. — Разговоры об игре Дузе,

Гофмана, шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день и целый день... Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое — ну, наука, служба, учительство, докторство, малые дети, не говорю уж заработок или служение людям, а тут ничего, кроме игры всякого рода и жрания, и старческий flirtation* или еще хуже. Отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти. Теперь же нельзя говорить. Хуже глухих — кричащие. Она больна, это правда, но болезнь — то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Что из этого выйдет, чем кончится?»

«...Хочется уйти от этой скверной, унижительной жизни, — писал он на другой день. — Думал и особенно больно и нехорошо то, что после того, как я всем божеским, служением Богу жизнью, раздачей имения, уходом из семьи, пожертвовал для того, чтобы не нарушить любовь, — вместо этой любви должен присутствовать при унижительном сумасшествии».

Стоило Софье Андреевне отправиться в Петербург, где должен был состояться концерт Танеева, как вслед ей понеслись слова мужа-обличителя: «Ужасно больно и унижительно стыдно, что чуждый совсем и не нужный и ни в каком смысле не интересный человек руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни, унижительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции, когда играет».

Это ужасно, ужасно, отвратительно и постыдно. И происходит это именно в конце нашей жизни — прожитой хорошо, чисто, именно тогда, когда мы все больше и больше сближались, несмотря на все, что могло разделять нас... вдруг вместо такого естествен-

ного, доброго, радостного завершения 35-летней жизни эта отвратительная гадость, наложившая на все свою ужасную печать. Я знаю, что тебе тяжело и что ты тоже страдаешь, потому что ты любишь меня и хочешь быть хорошею, но ты до сих пор не можешь, и мне ужасно жаль тебя, потому что я люблю тебя самой хорошей не плотской и не рассудочной, а душевной любовью».

Сам же Танеев ничего не подозревал и виноватым себя не чувствовал. На следующее лето он вновь собрался было в Ясную Поляну, тем более что и Софья Андреевна приглашала, но Лев Николаевич заявил, что в таком случае он навсегда уйдет из дома и в доказательство своей решимости уехал в имение к брату.

«Твое сближение с Танеевым мне не то что неприятно, но страшно мучительно, — писал он оттуда жене. — Продолжая жить при этих условиях, я отравляю и сокращаю свою жизнь... Как же быть? Реши сама. Сама обдумай и реши, как поступить».

Толстой предлагал жене четыре возможных выхода из сложившейся ситуации.

Первый и наилучший, по его мнению, — «прекратить всякие отношения, но не понемногу и без соображений о том, как это кому покажется, а так, чтобы освободиться совсем и сразу от этого ужасного кошмара, в продолжение года душившего нас».

Второй — «это то, чтобы мне уехать за границу, совершенно расставшись с тобой, и жить каждому своей независимой от другого жизнью».

Третий выход виделся Льву Николаевичу «в том, чтобы тоже, прекратив всякие сношения с Танеевым, нам обоим уехать за границу и жить там до тех пор, пока пройдет то, что было причиной всего этого».

Четвертый выход представлял собой «не выход, а выбор самый страшный, о котором я без ужаса и отчаяния не могу подумать, это тот, чтобы, уверив себя,

* «флирт» (фр.).

что это пройдет и что тут нет ничего важного, продолжать жить так же, как этот год».

Увы, на этом четвертом, «самом страшном» выходе Толстому и пришлось остановиться. Поняв, что Софья Андреевна не желает идти на уступки, он вернулся в Ясную Поляну, вернулся совершенным страдальцем. «Виновата ли я — я не знаю, — писала в дневнике Софья Андреевна. — Когда я сближалась с Танеевым, то мне представлялось часто, как хорошо иметь такого друга на старости лет: тихого, доброго, талантливое».

Но уже на следующий день она пишет, как ей: «...больно было ужасно видеть ужас и болезненную ревность Льва Николаевича при известии о приезде Танеева». И добавляет: «...страдания его мне подчас невыносимы».

Несколькими днями позже она записывает: «С утра тяжелый разговор с Львом Николаевичем о С. И. Танееве. Все та же невыносимая ревность. Спазма в горле, горький упрек страдающему мужу и мучительная тоска на весь день».

Танеев приехал, но пробыл в Ясной Поляне недолго — всего двое суток. Он не мог не почувствовать напряженности, витавшей в воздухе, не мог не заметить резко отрицательного отношения к себе со стороны Толстого и предпочел поскорее уехать, сославшись на неотложные дела, призывающие его в Москву. «Уехал Сергей Иванович, и Лев Николаевич стал весел и спокоен, — констатировала Софья Андреевна, — а я спокойна, потому что повидала его. Ревнивые требования Льва Николаевича прекратить всякие отношения с Сергеем Ивановичем имеют одно основание: это страдание Льва Николаевича. Мне же прекратить эти отношения — тоже страдание. Я чувствую так мало греховности и столько самой спокойной тихой радости от моих чистых, спокойных отношений к этому челове-

ку, что я в душе не могу их уничтожить, как не могу не смотреть, не дышать, не думать».

«Беседовала в саду с Ванечкой (имелся в виду умерший младший сын. — А.Ш.), спрашивая его, дурно ли мое чувство к Сергею Ивановичу, — писала она в дневнике. — Сегодня Ванечка меня отвел от него; видно, ему просто жаль отца; но я знаю, что он меня не осуждает; он послал мне Сергея Ивановича и не хочет отнимать его у меня».

Месяц спустя Софья Андреевна, не спросив мужа, снова пригласила Танеева в Ясную Поляну. «Я еще не сказала Льву Николаевичу, боюсь его расстроить, — волновалась она. — Неужели он будет опять ревновать! Но мучительно это предположение, а главное, Лев Николаевич болен, и я так боюсь ему повредить. Если б Сергей Иванович знал, как он удивился бы! А я не могу преодолеть своего чувства радости, что будет музыка и будет приятный собеседник, веселый и порядочный».

Танеев прогостил у Толстых неделю. Когда он играл, Софья Андреевна «не могла сдерживать свои слезы», сотрясаясь «от внутренних рыданий», а Лев Николаевич вскакивал на велосипед и уезжал, изгоняя раздражение при помощи физической нагрузки.

«...сегодня в его дневнике написано, что я созналась в своей вине в первый раз, и что это радостно!!!.. — писала Софья Андреевна 10 декабря 1897 года. — Боже мой! Помогите мне перенести это! Опять перед будущими поколениями надо сделать себя мучеником, а меня виноватой! А в чем вина? Л. Н. (Лев Николаевич. — А.Ш.) рассердился, что я... зашла месяц тому назад навестить С. И. (Сергея Ивановича Танеева. — А.Ш.), лежащего в постели по случаю больной ноги. По этой причине Л. Н. страшно рассердился, не ехал в Москву и считает это виной.

Когда я стала ему говорить, что за всю мою чистую, невинную жизнь с ним он может простить меня, что я зашла к больному другу навестить его, да еще с стариком дядей, А. Н. прослезился и сказал: «Разумеется, это правда, что чистая и прекрасная была твоя жизнь».

«Длинная седая борода, худ. Одет в синюю суконную блузу с кожаным поясом, в больших самодельных сапогах... — таким описал Льва Толстого его сосед, помещик Цуриков. — Речь его неотразима, он скорее оратор, чем мыслитель. Рядом с гениальной мыслью, прожигающею его речь, как блеск молнии, он иногда бывает наивен так, что поражаешься. Он очень просто и ясно говорит о своих убеждениях. Он очень ясен. Все мистическое глубоко противно его натуре. Но сам он одно, а талант его — нечто стоящее вне его и выше. Его семья в нем видит его самого, а не его талант».

Глава восемнадцатая

ЧЕРТ ПОПУТАЛ

В мае 1891 года по настоянию Льва Николаевича, желавшего освободиться от имущественного бремени, начался раздел его состояния между Софьей Андреевной и детьми. Дочь Татьяна писала об этом в своем дневнике: «На Страстной неделе все братья съехались, потому что решили делиться. Этого хотел папá, а то, конечно, никто не стал бы этого делать. Все-таки ему это было очень неприятно, и раз, когда братья и я зашли к нему в кабинет просить, чтобы он сделал нам оценку всего, он, не дождавшись, чтобы мы спросили, что нам нужно, стал быстро говорить: «Да, да, я знаю, надо, чтобы я подписал, что я от всего отказываюсь в вашу пользу...» Он сказал нам это потому, что это было для него самое неприятное, — ему очень тяжело подписывать и дарить то, что он давно уже не считает своим, потому что, даря, он как будто признает это своей собственностью. Это было так жалко, потому что он был как осужденный, который спешит всунуть голову в петлю, которой, он знает, ему не миновать. А мы трое были эта петля».

Земельные участки, принадлежавшие Толстому, были оценены в 550 тысяч, после чего их разделили на девять долей. Что не получилось сровнять по стоимости, выровняли доплатами.

Дележ длился долго. 17 июня Толстой писал в дневнике: «Дома невесело — раздел».

Результат этого раздела был таков:

Старший сын, Сергей Львович получил около 800 десятин земли при селе Никольском-Вяземском, с ус-

ловием уплатить в течение года сестре своей Татьяне Львовне 28 тысяч рублей, а матери, в течение пятнадцати лет, 55 тысяч рублей, с ежегодной выплатой четырех процентов с этой суммы в качестве годовых процентов.

Татьяна Львовна получила имение Овсянниково и 38 тысяч рублей деньгами.

Илья Львович получил Гриневку и 368 десятин части имения при селе Никольском-Вяземском.

Льву Львовичу достался дом в Москве, 394 десятины земли в самарском имении при селе Бобровне и пяти тысяч рублей, которые в течение пяти лет должен был выплатить ему брат Михаил.

Сам Михаил за минусом этих пяти тысяч получил 2105 десятин в самарском имении.

Андрей и Александра получили на двоих 4022 десятины земли в Самарской губернии, с обязательством уплатить девять тысяч рублей сестре Татьяне.

Младший сын Иван стал обладателем 370 десятин в Ясной Поляне, а оставшаяся часть Ясной Поляны досталась Софье Андреевне. Ей же перешла и доля Марии Львовны, исчисляемая в 55 тысяч рублей.

Мария Львовна от причитавшейся ей доли имущества вначале отказалась, чем очень обрадовала отца («Как мне тяготиться жизнью, когда у меня есть Маша!»), но в 1897 году, готовясь выйти замуж, одумалась и все же ее взяла.

Мать, так же как братья и сестра Татьяна, Машиного отказа не одобрили, считая, что она вносит лишнюю смуту в дележ имущества. «Вчера поразительный разговор детей, — писал Лев Николаевич в дневнике 5 июля 1892 года. — Таня и Лева внушают Маше, что она делает подлость, отказываясь от имения. Ее поступок заставляет их чувствовать неправду своего, а им надо быть правыми, и вот они стараются придумывать,

почему поступок нехорош и подлость. Ужасно. Не могу писать. Уж я плакал, и опять плакать хочется. Они говорят: мы сами бы хотели это сделать, да это было бы дурно. Жена говорит им: оставьте у меня. Они молчали. Ужасно! Никогда не видал такой очевидности лжи и мотивов ее. Грустно, грустно, тяжело мучительно».

В 1900 году, вспоминая пресловутый раздел, Толстой признавался: «Мне теперь смешно думать, что выходит, как будто я хотел хорошо устроить детей. Я им сделал этим величайшее зло. Посмотрите на моего Андриюшу. Ну что он из себя представляет?! Он совершенно неспособен что-нибудь делать. И теперь живет на счет народа, который я когда-то ограбил и они продолжают грабить. Как ужасно мне теперь слушать все эти разговоры, видеть все это! Это так противоречит моим мыслям, желаниям, всему, чем я живу... Хотя бы они пожалели меня!»

Жена и дети, по сути, были Толстому чужими. Близкого друга он обрел в лице Владимира Черткова. Случилось это осенью 1883 года.

Элегантный красавец Чертков происходил из богатой, знатной и к тому же близкой ко двору семьи. Он начал было военную карьеру, но вскоре остыл к ней, несмотря на радужные карьерные перспективы, которые открывались перед ним благодаря родительским связям. Его потянуло к народу, и воззрения Толстого пришлились тут как нельзя кстати.

Знакомство с Чертковым доставило Льву Николаевичу огромную радость — у него обнаружился последователь из высшего общества, и это не могло не радовать, доказывая верность толстовского учения. Радовался и Чертков. «Я почувствовал такую радость от сознания того, что период моего духовного одиночества, наконец, прекратился», — вспоминал он.

Чертков оставил армейскую службу и прилепился, если так можно выразиться, к Толстому в роли духовного сына. Как часто бывает, ученик-фанатик оказался глупее и непримиримее учителя-мыслителя — Чертков начал то и дело поправлять Льва Николаевича и бесцеремонно вмешиваться в его семейные дела, чем вызвал недовольство Софьи Андреевны, поначалу благоволившей к единственному «светскому» последователю мужа, «блестящему конногвардейцу».

Постепенно расположение сменилось иронией, а ирония перешла в неприязнь. Ну, а уж от неприязни до ненависти рукой подать. «Владимир Григорьевич стал «идолом» и «разлучником».

На третий месяц знакомства Чертков мог потребовать от Льва Николаевича приехать к нему в имение (Воронежская губерния — не ближний свет!), чтобы помочь обратить в «толстовство» трех крестьян.

Лев Николаевич, такой самолюбивый, такой самостоятельный, такой независимый, позволял Черткову не только вмешиваться в «приватную интимность», но и давать чудовищные в своей бестактности советы. Софья Андреевна считала, что Лев Николаевич попросту падок на лесть. «Было письмо от Черткова, — писала она в дневнике. — Не люблю я его: не умен, хитер, односторонен и не добр». И поясняла следом: «Л.Н. пристрастен к нему за его поклонение».

Расположение Льва Николаевича к Черткову росло. «Как я радуюсь, что вегетарианство вам пошло на пользу, — писал ему Толстой. — Это не может быть иначе. Продолжаются ли ваши сношения с мужиками? Это, как все хорошее, и радостно, и здорово, и полезно».

Не исключено, что благоволение Толстого поначалу было проявлением жалости и сострадания к пси-

хически не уравновешенному (скажем прямо — психически нездоровому) человеку. «Скажу вам мое чувство при получении ваших писем: мне жутко, страшно — не свихнулись бы вы», — писал он Черткову, а в дневнике записывал: «Видел сон о Чертокве. Он вдруг заплясал, сам худой, и я вижу, что он сошел с ума».

А вот другая запись о Чертокве из дневника Толстого: «Он удивительно одноцентричен со мною».

Чертков не скрывал, что страдает манией преследования, периоды маниакального возбуждения чередовались у него с длительными депрессиями, суждения его были странны, но, надо отдать ему должное, он мастерски умел производить впечатление. Лоск, красота, манеры, тихий вкрадчивый голос...

Это был черт, дьявол, Сатана, явившийся в семью Толстых, чтобы разбить ее вдребезги, была уверена Софья Андреевна. Дьявол приторный, вязкий, медоточивый, но в то же время способный на все ради достижения своих целей.

Одно время Софья Андреевна подозревала, что ее мужа и Черткова связывает не только духовное родство, но и физиологическая приязнь самого что ни на есть земного свойства. Уж больно трогательной и крепкой казалась ей эта внезапно возникшая дружба между ними.

«Отношения с Чертковым надо прекратить. Там всё — ложь и зло, а от этого подальше», — провозгласила в дневнике в марте 1887 года Софья Андреевна и начала действовать. Причиной послужило письмо Черткова Толстому, случайно обнаруженное Софьей Андреевной. Согласно семейной традиции супруги читали и дневники и письма друг друга, поэтому не было ничего предосудительного в том, что Софья Андреевна найденное письмо прочитала.

Прочитала и вознегодовала. Чертков писал о том, как сам он счастлив в семейной жизни и жалел Толстого, которому на этом поприще не повезло. Ни разу не называлось имя Софьи Андреевны, но к чему имена? Достаточно было хотя бы вот этой фразы: «При этом я всегда вспоминаю тех, кто лишен возможности такого духовного общения с женами и которые, как казалось бы, гораздо, гораздо более меня заслуживают счастья».

«Спасибо вам за него, — благодарил Толстой Чертова за это письмо. — Вы верно не можете себе представить мою радость при чтении его. Как всё хорошо: и ваша жизнь с женою и матерью, и те запросы жизни, которые встают перед вами. Очень радуюсь и люблю вас».

Вмешательство в его семейную жизнь Льва Николаевича не покорило. Чуть ли ни с самого начала знакомства он стал поверять новому другу сокровенные тайны, всячески жалуюсь на своих домашних.

«Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, найдено не свежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением — зачем говорить, если нельзя поправить. Вот когда я молюсь: Боже мой, научи меня, как мне быть, как мне жить, чтобы жизнь моя не была мне гнусной».

Оказывался, такой пустяк, как несвежая осетрина, мог расстроить великого мыслителя. Поистине — ничто человеческое не было ему чуждо. Интересно — ели ли осетрину яснополянские крестьяне, и если ели — то как часто?

Чертков проявлял поистине трогательную заботу о Толстом: «Зачем вы не попросите вашего старшего сына помочь вам в приведении в порядок и содержания в порядке ваших бумаг? Это так важно, чтобы бу-

маги содержались в порядке кем-нибудь из ваших домашних». Далее следует откровенная, не прикрытая ничем лесть: «Всё, что вы пишете, для нас так дорого, так близко всему хорошему, что мы в себе сознаем, что просто содрогаешься от одной мысли, что что-нибудь из ваших писаний может пропасть за недостатком присмотра».

Чертков дотошно копировал попадавшие к нему рукописи, дневники и письма «учителя», якобы желая сохранить все написанное гением для потомков. Он утверждал, что работает над составлением некоего «Свода» мыслей Толстого. Толстому идея со «Сводом» очень понравилась.

Сама Софья Андреевна призналась впоследствии: «Я неправа была, думая, что лесть заставляет Чертова общаться с Львом Николаевичем. Чертков фанатично полюбил Льва Николаевича и упорно, много лет живет им, его мыслями, сочинениями и даже личностью, которую изображает в бесчисленных фотографиях. По складу ума Чертков ограниченный человек, и ограничился сочинениями, мыслями и жизнью Льва Толстого. Спасибо ему и за это».

Поначалу в руках Чертова оказался дневник Толстого за 1884 год, полученный им от Льва Николаевича вскоре после знакомства. В 1890 году Чертков попросил (можно сказать и «потребовал») передать ему на хранение все дневники. Толстой поначалу согласился, но в дело вмешалась Софья Андреевна, не желавшая, чтобы хроника их сложных семейных взаимоотношений попадала бы в руки постороннего человека, да еще и столь неприятного. Толстой послушал жену и оставил дневники у себя.

«Мне очень жаль, что не могу послать вам дневники, — писал он Черткову. — Я тогда необдуманно написал: не говоря о том, что это нарушает мое отношение к

этому писанию, я не могу послать, не сделав неприятное жене или тайну от нее. Это я не могу. Чтобы заглядывать свою вину не сдержанного обещания, буду выписывать вам, как вот начал, и посылаю... Дневники же не пропадут. Они спрятаны, и про них знают домашние — жена и дочери. Пропасть ничего Божье не может. Я верю».

Примерно с того же времени Лев Николаевич начал прятать свои дневники от Софьи Андреевны. Теперь она читала их тайно, ночами.

Настойчивый Чертков обратился к дочери Толстого Марии, выполнявшей при отце роль секретаря, с просьбой снимать копии с писем и дневников Льва Николаевича, но получил отказ. Мария не пожелала выступать в роли соглядатая или тайного агента. «Вообще мне неприятно делать эти выписки, — писала она Черткову, — стыдно вмешиваться в духовное, самое сокровенное его Божье дело».

Чертков попытался зайти «с другого боку», попросив Льва Николаевича поручить Маше (!) снимать копии с его переписки «неинтимного характера» и отсылать их Черткову. «Несколько писем я просил Машу списать и сообщу вам», — написал Лев Николаевич в ответном письме.

Однажды Софья Андреевна не выдержала и написала Черткову гневное письмо, в котором обвинила его в том, что он беспощадно эксплуатирует ее мужа, «утомленного нервного старика».

«По отношению ко всему, что касается его лично, нам следует быть наивозможно точнейшими исполнителями его желаний», — ответил ей Чертков.

Дальше — больше: «Во Льве Николаевиче я не только не вижу нервного старика, но, напротив того, привык видеть в нем и ежедневно получаю фактические подтверждения этого — человека моложе и бодрее ду-

хом и менее нервного, т. е. с большим душевным равновесием, чем все без исключения люди, его окружающие и ему близкие».

Шпильки сменились прямым выпадом: «...вы действуете наперекор желаниям Льва Николаевича, хотя бы и с самыми благими намерениями, вы не только причиняете ему лично большое страдание, но даже и практически, во внешних условиях жизни очень ему вредите».

Софья Андреевна ответила в том же духе: «...если я 30 лет оберегала его, то теперь ни у вас, ни у кого-либо уж учиться не буду, как это делать».

Свой ответ вместе с письмом Софьи Андреевны Чертков переслал Толстому. Софья Андреевна, в свою очередь, тоже пожаловалась мужу: «Чертков написал мне неприятное письмо, на которое я слишком горячо ответила. Он, очевидно, рассердился на меня за мой упрек, что он торопит тебя статьей, а я и не знала, что ты сам ее выписал. Я извинилась перед ним; но что за тупой и односторонне-понимающий всё человек! И досадно, и жаль, что люди узко и мало видят; им скучно!»

«Вы правы, но и она не виновата, — ответил Чертков Толстой. — Она не видит во мне того, что вы видите».

Льву Николаевичу приходилось трудно. Его положение можно было сравнить с положением мужчины, живущего на две семьи. Всяк тянет в свою сторону, не разрываться же напополам в конце концов!

Чертков «конкурировал» с Софьей Андреевной не только на семейном, но и на издательском поприще. В 1885 году при участии Льва Толстого с целью издания хороших и недорогих книг для народа было основано книгоиздательство «Посредник», в работе которого Чертков принимал самое деятельное участие.

В 1897 году за помощь духоборам (он помогал им эмигрировать в Канаду) Чертков был выслан в Англию. Чертков продолжал переписку со Львом Николаевичем, издавал в Лондоне его труды, запрещенные к изданию на родине, продолжил работу над «Сводом», но Чертков был далеко, и Софья Андреевна постепенно успокоилась, сочтя, что поле битвы осталось за ней.

Напрасно она так думала.

Чертков вернулся через десять лет. Вернулся, совершенно не изменившимся, разве что полысевшим и обрюзгим. Уважение Льва Николаевича к нему возросло неимоверно, ведь Чертков пострадал за свои убеждения, да вдобавок, оказавшись в изгнании, не сложил рук, а продолжал бороться за правое дело!

По возвращении Чертков поселился в Телятниках, близ Ясной Поляны, и активно взялся за работу по изданию «Полного собрания мыслей Л. Н. Толстого» (так теперь назывался «Свод»). В Телятниках был отстроен слишком большой и слишком красивый, по мнению Толстого, дом, где Чертков с семьей и соратниками «зажил по-толстовски».

«Соратники», то есть прислуга и секретари-переписчики, будучи убежденными толстовцами, одевались по-крестьянски и спали прямо на полу, подстелив для мягкости солому и укрывшись собственной одеждой.

Сам Чертков с женой, сыном и матерью жил на втором этаже, в весьма прилично обставленных комнатах.

В полдень Чертков устраивал шоу всеобщего братства — его семья обедала за одним столом со слугами, секретарями и местными крестьянами, занятыми той или иной работой в Телятниках. По свидетельству дочери Толстого Александры Львовны, обедавшие были поделены на три категории, аналогично

классам на железной дороге. К первой, восседавшей во главе стола и вкушавшей несколько перемен блюд, относились Чертков и его близкие. Вторую составляли «образованные люди», корпевшие над составлением «Полного собрания мыслей», их кормили похуже. Третья, простонародная, категория могла рассчитывать лишь на жидкие щи да кашу с постным маслом.

Чертков, как вольнодумец и смутьян, жил под неослабным надзором властей. За свою «подрывную» деятельность он был в 1909 году выслан из Тульской губернии. Подозревали, что к этому приложила руку Софья Андреевна, ради маскировки написавшая в российские и иностранные газеты письмо в защиту Чертова.

Высылка выглядела фарсом — «высланный» осел у родственников недалеко от Москвы, где и продолжал свою крамольную деятельность. «Мне не хватает Чертова», — печалился Лев Николаевич в апреле 1909 года. Окончательно ставшая чужой жена все сильнее тяготила его. На каждое слово мужа Софья Андреевна отвечала водопадом упреков. Страстно желая высказаться и не имея к тому возможности, Толстой принялся писать посмертные письма.

«Письмо это отдадут тебе, когда меня уже не будет, — обращался он к жене. — Пишу тебе из-за гроба с тем, чтобы сказать тебе, что для твоего блага столько раз, столько лет хотел и не мог, не умел сказать тебе, пока был жив. Знаю, что если бы я был лучше, добрее, я бы при жизни сумел сказать так, чтобы ты выслушала меня, но я не умел. Прости меня за это, прости и за все то, в чем я перед тобой был виноват во все время нашей жизни, и в особенности в первое время. Тебе мне прощать нечего, ты была такою, какой тебя мать родила, верною, доброю женой и хорошей матерью. Но именно

потому, что и не хотела измениться, не хотела работать над собой, идти вперед к добру, к истине, а, напротив, с каким-то упорством держалась всего самого дурного, противного всему тому, что для меня было дорого, ты много сделала дурного другим людям и сама все больше и больше опускалась и дошла до того жалкого положения, в котором ты теперь».

В дневнике Толстой отзывался о жене несколько иначе: «Если бы она знала и поняла, как она одна отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни!»

В последнее время Софья Андреевна взяла моду угрожать мужу (да и всем домашним) самоубийством, расхаживая по дому с пузырьком опийной настойки. Это было невыносимо. Лев Николаевич отнимал пузырьки, разбивал о пол, топтал в гневе ногами, но все было тщетно — во время следующей ссоры в руке у жены появлялась новая порция яда.

Проклятый Чертков не мог сидеть спокойно — он снова накалил обстановку в Ясной Поляне. Бесконтрольно распоряжаясь трудами Толстого, Чертков позволил бесплатно опубликовать «Три смерти» и «Детство», то есть покусился на «владения» Софьи Андреевны, которой было отдано право на произведение Толстого, написанные до 1881 года. Сыновья Илья и Андрей посоветовали матери обратиться в суд, но Лев Николаевич пригрозил отобрать у жены все авторские права, если она посмеет возбудить судебное дело. «Тебе все равно, что семья пойдет по миру, — кричала обезумевшая от обиды и ярости Софья Андреевна. — Ты все права хочешь отдать Черткову, пусть внуки голодают!»

21 июля 1909 года Лев Николаевич писал в дневнике: «С вечера вчера Софья Андреевна была слаба и раздражена. Я не мог заснуть до 2-х и дольше. Проснулся слабый. Меня разбудили. Софья Андреев-

на не спала всю ночь. Я пошел к ней. Это было что-то безумное... Я устал и не могу больше и чувствую себя совсем больным. Чувствую невозможность относиться разумно и любовно, полную невозможность. Пока хочу только удалиться и не принимать никакого участия. Ничего другого не могу, а то я уже серьезно думал бежать... А страшно хочется уйти. Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь, кому-нибудь нужное».

26 июня 1910 года Софья Андреевна писала в дневнике: «Лев Николаевич, муж мой, отдал все свои дневники с 1900 года Вл. Гр. Черткову и начал писать новую тетрадь там же, в гостях у Черткова, куда ездил гостить с 12 июня. В том дневнике, который он начал писать у Черткова, который он дал мне прочесть, между прочим сказано: "Хочу бороться с Соней добром и любовью". Бороться?! С чем бороться, когда я его так горячо и сильно люблю, когда одна моя мысль, одна забота — чтоб ему было хорошо. Но ему перед Чертковым и перед будущими поколениями, которые будут читать его дневники, нужно выставить себя несчастным и великодушно-добрым, борющимся с мнимым каким-то злом».

«Жизнь моя с Льв. Ник. делается со дня на день невыносимее из-за бессердечия и жестокости по отношению ко мне, — с горечью констатирует Софья Андреевна. — И все это постепенно и очень последовательно сделано Чертковым. Он всячески забрал в руки несчастного старика, он разлучил нас, он убил художественную искру в Л. Н. и разжег осуждение, ненависть, отрицание, которые чувствуются в статьях Л. Н. последних лет, на которые его подбивал его глупый злой гений».

«Да, если верить в дьявола, то в Черткове он воплотился и разбил нашу жизнь», — пишет она далее.

Обреченность нарастает: «Все эти дни я больна. Жизнь меня утомила, измучила, я устала от трудов самых разнообразных; живу одиноко, без помощи, без любви, молю Бога о смерти; вероятно, она не далека. Как умный человек, Лев Никол. знал способ, как от меня избавиться, и с помощью своего друга — Черткова убивал меня постепенно, и теперь скоро мне конец».

Спустя несколько дней она добавляет: «Опять было объяснение, и опять мучительные страдания. Нет, так невозможно, надо покончить с собой. Я спросила: “С чем во мне Лев Ник. хочет бороться?” Он говорит: “С тем, что у нас во всем с тобой разногласие: и в земельном, и в религиозном вопросе”. Я говорю: “Земли не мои, и я считаю их семейными, родовыми”. — “Ты можешь свою землю отдать”. Я спрашиваю: “А почему тебя не раздражает земельная собственность и миллионное состояние Черткова?” — “Ах! ах, я буду молчать, оставь меня...” Сначала крик, потом злобное молчание.

Сначала на вопрос мой, где дневники с 1900 года, Лев Ник. мне быстро ответил, что у него. Но когда я их просила показать, он замялся и сознался, что они у Черткова. Тогда я спросила опять: “Так где же дневники твои, у Черткова? Ведь может быть обыск и все пропадет? А мне они нужны как материал для моих «Записок»”. — “Нет, он принял свои меры, — отвечал Л. Н., — они в каком-то банке”. — “Где? в каком?” — “Зачем тебе это надо знать?” — “Как, ведь я самый тебе близкий человек, жена твоя”. — “Самый близкий мне человек — Чертков, и я не знаю, где дневники. Не все ли равно?”»

Действительно — не все ли равно?

Проклятый Чертков не только завладел дневниками Толстого, он вознамерился подточить финансовое

положение его семьи, уговаривая Льва Николаевича передать права на свои произведения в общее пользование. По его мнению, пророк, провозгласивший отказ от собственности неприменимым условием праведной жизни, не мог и не должен был позволять своей собственной семье наживаться на интересе людей к его творчеству.

В сентябре 1909 года Лев Николаевич подписал завещание, в котором было сказано: «Заявляю, что желаю, чтобы все мои сочинения, литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще не изданные, написанные или впервые напечатанные с 1 января 1881 года, а равно и все написанные мною до этого срока, но еще не напечатанные, — не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет. Желаю, чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были бы переданы Владимиру Григорьевичу Черткову с тем, чтобы он и после моей смерти распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь, для того чтобы все мои писания были безвозмездно доступны всем желающим ими пользоваться для издания. Прошу Владимира Григорьевича Черткова выбрать так же такое лицо или лица, которым бы он передал это уполномочие на случай своей смерти».

Завещание было переписано набело дочерью Александрой, которая после смерти Марии (бедняжка скончалась от пневмонии в возрасте тридцати пяти лет) была Льву Николаевичу ближе всех прочих детей.

Это завещание было больше политическим, нежели юридическим. Софья Андреевна могла без особых усилий опротестовать его, поэтому Толстому при-

шлось вскоре после первого завещания написать второе, согласно которому все права переходили его дочери Александре Львовне. Это завещание оспорить было нельзя — в нем не выразилось несколько туманное желание, «чтобы все мои сочинения... не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности», а шла речь о передаче прав от одного лица другому.

«...я, к моему удивлению и глубокому огорчению, убедился в том, что некоторые из моих семейных не намерены, как они сами открыто это заявляли, исполнить мое желание... — писал Лев Николаевич в пояснительной записке ко второму своему завещанию. — Для этого я решил оставить духовное завещание, по которому передаю в полную собственность все без исключения мною написанное по день моей смерти дочери моей Александре Львовне Толстой, будучи уверен в том, что она в точности исполнит мои распоряжения относительно этих писаний».

Александра обещала отказаться от прав на сочинения отца, сделав их общественным достоянием.

«Очень надеюсь, что теперь устранится всякий случай для нежелательных столкновений в этой области между членами моей семьи за невозможностью после этого каких-либо недоразумений по поводу этого вопроса», — писал в завершение пояснительной записки Лев Николаевич.

От домашних история с завещаниями хранилась в тайне. Знала о нем только Александра.

1 июля Чертков в очередной раз приехал в Ясную Поляну. Софья Андреевна потребовала у него назад дневники мужа, на что тот крайне резко указал ей на недопустимость подобного поведения. Чертков сказал, что жена не вправе вмешиваться в отношения между учителем и учеником.

«Сквозь весь наш разговор прорывались у Чертова грубые слова и мысли, — писала Софья Андреевна. — Например, он кричал: “Вы боитесь, что я вас буду обличать посредством дневников. Если б я хотел, я мог бы сколько угодно напасть (хорошо выражение якобы порядочного человека!) вам и вашей семье. У меня довольно связей и возможности это сделать, но если я этого не делал, то только из любви к Льву Николаевичу». Как доказательство того, что это возможно, Чертков привел пример Карлейля, у которого был друг, избличивший жену Карлейля и выставивший ее в самом дурном свете».

На всякий случай Софья Андреевна тут же поспешила оправдаться, написав далее: «Как еще низменно мыслит Чертков! Какое мне дело, что после моей смерти какой-нибудь глупый офицер в отставке будет меня обличать перед какими-нибудь недоброжелательными господами?! Мое дело жизни и душа моя перед Богом; а жизнь моя земная прошла в такой самоотверженной, страстной любви к Льву Николаевичу, что какому-нибудь Черткову уже не стереть этого прошлого, несомненно пережитого почти полвека моей любви к мужу».

На прощанье Чертков, с которого в пылу ссоры слетел весь доск, заявил, «что если б у него была такая жена, как я, он застрелился бы или бежал в Америку», а спускаясь по лестнице со Львом Львовичем Толстым, со злостью сказал: «Не понимаю такой женщины, которая всю жизнь занимается убийством своего мужа».

Софья Андреевна заставила Чертова дать расписку, в которой он обещал вернуть дневники Льву Николаевичу сразу же по окончании работы над ними. Она чуть было и с мужа, пообещавшего передать дневники ей, не взяла подобную расписку, но Лев Николаевич

сказал: «Какие же расписки жене, это даже смешно, — сказал он. — Обещал и отдам».

«Но я знаю, что все эти записки и обещания один обман, — написала Софья Андреевна в дневнике, а позже приписала: — Так и вышло с Льв. Ник-м, он дневников мне не отдал и положил пока в банк в Туле».

Обещание, вырванное у Черткова, ее тоже не радовало. «Чертков отлично знает, что Льву Николаевичу уже не долго жить, и будет все отлынивать и тянуть свою вымышленную работу в дневниках и не отдаст их никому», — сокрушалась она.

Неприязнь к Черткову совершенно не сказывалась на отношении Софьи Андреевны к его матери. «Приезжала мать Черткова, — пишет она в дневнике на следующий день, 2 июля. — Она очень красивая, возбужденная и не совсем нормальная, очень уже пожилая женщина... бедная мать, у нее умерло два сына, и она подробно рассказывала о смерти меньшого, 8-летнего Миши. Прошло с тех пор 35 лет, и рана этой утраты свежа, и сердце у нее измучено горем, и с смертью ее меньшого Миши прекратились на веки все радости жизни. Слава Богу, что она нашла утешение в религии».

5 июля Чертков снова наведалься в Ясную Поляну. «Жизни нет, — изливала в дневнике душу Софья Андреевна. — Застыло как лед сердце Льва Николаевича, забрал его в руки Чертков. Утром Лев Ник. был у него, вечером Чертков приехал к нам. Лев Ник. сидел на низкой кушетке, и Чертков подсел близко к нему, а меня всю переворачивало от досады и ревности».

«Затем был затеян разговор о сумасшествии и самоубийстве, — продолжает она, не слишком вдаваясь в подробности. — Я три раза уходила, но мне хотелось быть со всеми и пить чай, а как только я подходила, Лев Никол., повернувшись ко мне спиной и лицом к

своему идолу, начинал опять разговор о самоубийстве и безумии, хладнокровно, со всех сторон обсуждая его и с особенным старанием и точностью анализируя это состояние с точки зрения моего теперешнего страдания».

В ночь на 11 июля Софья Андреевна снова завела с мужем разговор о дневниках, которые продолжали оставаться у проклятого Черткова. Снова были слезы, упреки, угрозы покончить с собой. В качестве последнего довода отчаявшаяся Софья Андреевна не придумала ничего лучше, как выйти на балкон, тот самый балкон, где еще в девичестве ощутила она впервые любовь Толстого, улечься там прямо на голые доски пола и начать стонать. Муж раскричался, заявил, что жена не дает ему заснуть и грубо прогнал ее прочь. Софья Андреевна ушла в сад и около двух часов пролежала «на сырой земле в тонком платье», пока за ней не пришли домашние.

Это было не столько отчаяние, сколько демонстрация, устроенная истеричной натурой. В дневнике она писала: «Если б кто из иностранцев видел, в какое состояние привели жену Льва Толстого, лежащую в два и три часа ночи на сырой земле, окоченевшую, доведенную до последней степени отчаяния, — как бы удивились добрые люди! Я это думала, и мне не хотелось расставаться с этой сырой землей, травой, росой, небом, на котором беспрестанно появлялась луна и снова пряталась. Не хотелось и уходить, пока мой муж не придет и не возьмет меня домой, потому что он же меня выгнал».

«Жив еле-еле, — писал на следующий день в дневнике Лев Николаевич. — Ужасная ночь. До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной. Утром приехал Сергей. Ничего не ра-

ботал — кроме книжечки: “Праздность”. Ходил, ездил. Не могу спокойно видеть Льва. Еще плох я. Соня, бедная, успокоилась. Жестокая и тяжелая болезнь. Помогите, Господи, с любовью нести. Пока несу кое-как».

Желая положить конец истории с дневниками, Лев Николаевич пришел к «соломонову» решению — у Черткова дневники забрать, жене их не отдавать, а положить до своей смерти на хранение в Тульское отделение Государственного банка. Разъясняя свои намерения, он написал Софье Андреевне обстоятельное письмо. Жена находилась рядом, буквально в соседней комнате, но разговаривать с ней не было ни сил, ни желания. Проще уж написать на бумаге — по крайней мере прочтет до конца не перебивая.

Сразу же, без предисловий, Лев Николаевич «взял быка за рога», а затем перешел к пояснениям:

«1) Теперешний дневник никому не отдам, буду держать у себя.

2) Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке.

3) Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то не говоря о том, что такие выражения временных чувств, как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях — если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике или просто как бы в письме мое отношение к тебе и мою оценку твоей жизни.

Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолоду любил тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люб-

лю тебя. Причины охлаждения эти были (не говорю о прекращении брачных отношений — такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения не настоящей любви) — причины эти были, во-1-х, все большее и большее удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвращение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно и в чем я не упрекаю тебя. Это во-1-х. Во-вторых (прости меня, если то, что я скажу, будет неприятно тебе, но то, что теперь между нами происходит, так важно, что надо не бояться высказывать и выслушивать всю правду), во-вторых, характер твой в последние годы все больше и больше становился раздражительным, деспотичным и несдержанным. Проявления этих черт характера не могли не охлаждать — не самое чувство, а выражение его. Это во-2-х. В-третьих. Главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, — это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни. Все в наших понятиях жизни было прямо противоположно: и образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни — собственность, которую я считал грехом, а ты — необходимым условием жизни».

Разумеется, он не мог не постараться обелить себя: «Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжелым для меня условиям жизни, ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло все больше и больше. Были и еще другие причины охлаждения, виною которых были мы оба, но я не стану говорить про них, потому что они не идут к делу. Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя».

Затем Толстой немножко покаялся: «За то же, что ты не пошла за мной в моем исключительном духовном движении, я не могу упрекать тебя и не упрекаю, потому что духовная жизнь каждого человека есть тайна этого человека с Богом, и требовать от него другим людям ничего нельзя. И если я требовал от тебя, то я ошибался и виноват в этом».

И даже выразил готовность пойти ради жены на великую жертву, отказавшись видеться с Чертковым. Невозможно поверить в то, что он был искренен, когда писал:

«4) Это то, что если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Чертковым, то я готов не видаться с ним, хотя скажу, что это мне не столько для меня неприятно, сколько для него, зная, как это будет тяжело для него. Но если ты хочешь, я сделаю».

А вот пятый пункт письма выглядит совершенно естественно и сомнений в искренности Толстого не вызывает: «...если ты не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду, наверное, не к Черткову. Даже поставлю непременно условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно, потому что дальше так жить, как мы живем теперь, невозможно».

Завершалось письмо чем-то вроде лирического отступления: «Я бы мог продолжать жить так, если бы я мог спокойно переносить твои страдания, но я не могу. Вчера ты ушла взволнованная, страдающая. Я хотел спать лечь, но стал не то что думать, а чувствовать тебя, и не спал и слушал до часу, до двух — и опять просыпался и слушал и во сне или почти во сне видел тебя. Подумай спокойно, милый друг, послушай своего сердца, почувствуй, и ты решишь все, как должно. Про себя же скажу, что я с своей стороны решил все так, что

иначе не могу, не могу. Перестань, голубушка, мучить не других, а себя, себя, потому что ты страдаешь в сто раз больше всех».

После некоторых проволочек Чертков был вынужден вернуть дневники, предварительно списав отсюда все пикантное, все записи в той или иной мере компрометирующие Софью Андреевну. Дневники привезла от него Александра Львовна.

В Ясной Поляне на нее сразу же набросилась мать. Вырвала из рук сверток с дневниками, унесла к себе и принялась читать, лихорадочно перескакивая со страницы на страницу, с тетради на тетрадь. Дневники у Софьи Андреевны отобрали и заперли в шкаф, ключ от которого Лев Николаевич дать ей отказался.

В ответ Софья Андреевна заявила, что выпила опий, но вскоре призналась мужу: «Я тебя обманула, я и не думала пить». Толстой пригрозил ей уходом из дома. Он выглядел настолько решительным, что Софья Андреевна пошла на попятный и даже «разрешила» мужу приглашать к ним Черткова. «Разрешила» не без задней мысли. Вот что писала она в дневнике: «Разрешила через силу Черткову бывать у нас, старательно вела себя с ним, но страдала; следила за каждым движением и взглядом и Льва Николаевича и Черткова. Они были осторожны. Но до чего я ненавижу этого человека! Мне страданье — его присутствие, но буду выносить, чтоб видеть их вместе на моих глазах, а не где-нибудь еще, и чтоб они не затеяли вместо свиданий какую-нибудь еще длинную переписку».

Софье Андреевне казалось, что муж скрывает от нее какие-то страшные тайны — иначе почему бы ему понадобилось прятать дневники? «Я думала, что если Лев Никол. так тщательно прячет свои дневники от меня именно, чего никогда раньше не было, — писала она в

дневнике 18 июля, — то в них что-нибудь есть такое, что надо скрывать именно от меня; так как они были и у Саши, и у Черткова, а теперь закабалены в банк. Промучившись сомнениями и подозрениями всю ночь и весь день, я высказала Льву Ник-у и выразила подозрение, что он мне изменил так или иначе, записал это в дневники и теперь скрывает и прячет их. Он начал уверять, что это неправда, что он никогда не изменял мне. Так зачем же их прятать? Из злобы и упрямства? Ведь если там много хороших мыслей, то они могли бы мне принести только пользу».

«Но нет, если скрывают, то наверное что-нибудь дурное, — с ожесточением продолжает она. — Я ничего не скрываю: ни дневников, ни своих “Записок”, пусть весь мир читает и судит. Какое мне дело до людского суда! Знаю свою чистую жизнь, знаю, что читаю теперь, как книгу, все ощущения и самую суть природы и характера моего мужа, скорблю и ужасаюсь!»

Ее муж тоже ужасался. Ужасался переменам, происходящим с женой. Ужасался настолько, что решил обратиться к врачам — пригласил в Ясную Поляну известного психиатра Россолимо и доктора Никитина, бывшего до мобилизации по случаю русско-японской войны семейным врачом Толстых. Диагноз оказался туманен и расплывчат: «Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой».

«Разбили мое сердце, измучили и выписали докторов: Никитина и Россолимо, — писала Софья Андреевна 19 июля. — Бедные! они не знают, как можно лечить человека, которого со всех сторон морально изранили! Случайное чтение листка из старого дневника возмутило мою душу, мое спокойствие и открыло глаза на теперешнее пристрастие к Черткову и навеки отрави-

ло мое сердце. Сначала предложили мне такое лечение: Льву Н-у уехать в одну сторону, мне — в другую, ему к Тане, мне — неизвестно куда. Потом, когда я расплакалась, увидав, что вся цель окружающих меня удалить от Льва Николаевича, я на это не согласилась. Тогда, видя свое бессилие, доктора начали советовать: ванны, гулять, не волноваться... Просто смешно!»

Смешно на самом деле в Ясной Поляне не было никому — всем было грустно.

Не зная, чем бы еще досадить мужу и как отвратить его от ненавистного Черткова, Софья Андреевна решила на уход из дома и даже написала письмо мужу с объяснением мотивов своего поступка и заявление для газет.

Заявление было весьма любопытным. В нем говорилось: «В мирной Ясной Поляне случилось необыкновенное событие. Покинула свой дом графиня Софья Андреевна Толстая, тот дом, где она в продолжение 48 лет с любовью берегла своего мужа, отдав ему всю свою жизнь. Причина то, что ослабевший от лет Лев Николаевич подпал совершенно под вредное влияние господина Ч-ва, потерял всякую волю, дозволяя Ч-ву грубо обращаться с графиней, и о чем-то постоянно тайно совещался с ним. Проболев месяц нервной болезнью, вследствие которой были вызваны из Москвы два доктора, графиня не выдержала больше присутствия Ч-ва и покинула свой дом с отчаянием в душе».

25 июля она действительно ушла из дома, думая поселиться в Туле или уехать в Москву. Отговорил сын Андрей, которого мать встретила на вокзале. Вместе с ним Софья Андреевна вернулась в Ясную Поляну, «боясь встретить мужа и его насмешки».

«Но неожиданно вышло совсем другое и очень радостное, — писала она в дневнике. — Он пришел ко мне

добрый, растроганный; со слезами начал благодарить меня, что я вернулась.

— Я почувствовал, что не могу решительно жить без тебя, — говорил он плача, — точно я весь рассыпался, расшатался; мы слишком близки, слишком сжились с тобой. Я так тебе благодарен, душенька, что ты вернулась, спасибо тебе...

И он обнимал, целовал меня, прижимал к своей худенькой груди, и я плакала тоже и говорила ему, как по-молодому, горячо и сильно люблю его, и что мне такое счастье прильнуть к нему, слиться с ним душой, и умоляла его быть со мной проще, доверчивее и откровеннее, и не давать мне случая подозревать и чего-то бояться».

Все было бы прекрасно, если бы не проклятый Чертков. «Но когда я затрагивала вопрос о том, какой у него заговор с Чертковым, — продолжала Софья Андреевна, — он немедленно замыкался и делал сердитое лицо и отказывался говорить, не отрицая тайны их заговора. Вообще он был странный: часто не сразу понимал, что ему говорят, пугался при упоминании Чертова».

А вскоре по дому начали ходить слухи о завещании Толстого, и жизнь в Ясной Поляне превратилась в сущий ад. В поисках спокойствия Лев Николаевич уехал погостить к дочери Татьяне и ее мужу в их имение Кочеты, расположенное в Новосильском уезде Тульской губернии (сама Ясная Поляна находилась в Крапивенском уезде). Софья Андреевна увязалась за ним. Само собой — поездка вышла безрадостной.

Софья Андреевна вскоре вернулась в Ясную Поляну без мужа, чтобы поснимать отовсюду фотографии Чертова, заменяя их на свои. Попутно убрала и фотографии дочери Саши, которой не могла простить истории с завещанием.

Фотографиями дело не закончилось — был приглашен священник, освятивший кабинет Толстого, дабы изгнать оттуда «беса», то есть Чертова. С сознанием выполненного долга Софья Андреевна вернулась в Кочеты, как следует потрепала мужу нервы и снова уехала домой. Вскоре вернулся в Ясную Поляну и Лев Николаевич.

«Все тяжелее и тяжелее с Софьей Андреевной. Не любовь, а требование любви, близкое к ненависти и переходящее в ненависть», — записал Толстой в дневнике в конце августа 1910 года, еще гостя у дочери и зятя.

«Еду в Ясную, и ужас берет при мысли о том, что меня ожидает», — написал он утром 22 сентября 1910 года.

Софья Андреевна 12 октября записала: «Понемногу узнаю еще разные гадости, которые делал Чертков. Он уговорил Льва Н-а сделать распоряжение, чтоб после смерти его права авторские не оставались детям, а поступили бы на общую пользу, как последние произведения Л. Н. И когда Лев Ник. хотел сообщить это семье, господин Чертков огорчился и не позволил Л. Н. обращаться к жене и детям. Мерзавец и деспот! Забрал бедного старика в свои грязные руки и заставляет его делать злые поступки. Но если я буду жива, я отмщу ему так, как он этого себе и представить не может. Отнял у меня сердце и любовь мужа; отнял у детей и внуков изо рта кусок хлеба, а у своего сына в английском банке миллион шальных денег, не то, что у Л-а Н-а им заработанных вместе со мной, — я во многом ему помогала. Сегодня я сказала Льву Никол., что я знаю о его распоряжении. Он имел жалкий и виноватый вид и все время отмалчивался. Я говорила, что дело это недоброе, что он готовит зло и раздор, что дети без борьбы не уступят своих прав. И мне больно, что над могилой любимого человека подни-

мется столько зла, упреков, судбищ и всего тяжелого! Да, злой дух орудует руками этого Черткова — не даром и фамилия его от черта...»

«Она знает про какое-то, кому-то, о чем-то завещание — в тот же день писал в своем дневнике Лев Николаевич, — очевидно, касающееся моих сочинений. Какая мука из-за денежной стоимости их — и боится, что я помешаю ее изданию. И всего боится, несчастная».

Чаша его терпения понемногу переполнялась.

Глава девятнадцатая и последняя ПОБЕГ

«Все то же тяжелое отношение страха и чуждости», — писал в дневнике Толстой 18 октября 1910 года.

«Каждую минуту ждешь нового отпора, и это вечное ожидание чего-нибудь недоброго, каких-нибудь новых решений с дневниками, рукописями и завещанием делают мою жизнь нервной, тяжелой и невыносимой», — писала Софья Андреевна.

25 октября Лев Николаевич по-прежнему пребывал в дурном расположении духа: «Все то же тяжелое чувство. Подозрения, подсматривание и грешное желание, чтобы она подала повод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об ее положении, и жаль, и тоже не могу».

«Как он ослабел нравственно! — сокрушалась в тот же день Софья Андреевна. — Какое отсутствие доброты, ясности и правдивости! Грустно, тяжело, мучительно грустно! Опять замкнулось его сердце, и опять что-то злое в его глазах. А у меня сердце болезненно ноет; опять не хочется жить, от всего отпадают руки. Злой дух еще царит в доме и в сердце моего мужа».

Лев Николаевич, 26 октября: «Ничего особенного не было. Только росло чувство стыда и потребности предпринять».

Решение пришло ночью 28 октября.

Проснувшись среди ночи, Толстой услышал шум в своем кабинете — шаги, скрип открываемых дверей, шелест страниц — и понял, что Софья Андреевна читает его дневник и еще не отправленные письма.

Утолив любопытство, жена ушла к себе. Лев Николаевич понял, что заснуть уже не сможет. Встал, зажег свечу, и на свет тотчас же явилась жена. Слова ее были участливы, но в настороженных глазах то и дело проглядывала ненависть. Толстому удалось сдержаться и не выказать охватившего его раздражения. Софья Андреевна вскоре ушла к себе.

С ее уходом раздражение сменилось усталостью. В голове засела мысль о том, что на закате жизни он стал пленником — с одной стороны, жена с ее самоотверженной любовью, с другой стороны, Чертков, лучший друг и верный последователь, незаметно превратившийся в настоящего цербера. Жена связывала по рукам и ногам обязанностями семейными, а Чертков — долгом перед обществом. Оба они надоели ему чрезвычайно. Хотелось покоя. Хотелось дожить остаток жизни вдали от всех этих людей, когда-то бывших ему близкими и от их смешных проблем.

Перед тем как заснуть навсегда, хотелось пожить спокойно. Собраться с мыслями, обдумать свою жизнь. Именно жизнь, а не завещание и не очередной философский тезис.

В предвкушении столь долгожданной свободы затрепетало сердце.

Неразрешимый клубок противоречий нельзя было распутать. Разрубить! Разрубить прямо сейчас! Пока еще есть силы...

Откладывать до утра было нельзя — Софья Андреевна, жившая в ожидании очередного подвоха, просыпалась на рассвете и сразу же начинала следить за мужем.

Накинув на плечи халат (от этой «барской» привычки — халата — он так и не смог избавиться), Лев Николаевич прокрался в свой кабинет, чтобы написать жене прощальное письмо. На днях он уже пробо-

вал набросать его вчерне, поэтому с подбором нужных слов затруднений не было.

«Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.

Пожалуйста, пойми это и не ездь за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно; сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому».

Подписался, машинально проставил дату, подумал, не забыл ли чего, и приписал внизу: «Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручил Саше».

Бедная Саша, нелегко будет ей выдержать давление со стороны матери и братьев. Но ничего — выдержит. Толстовский характер.

Одному ехать было нельзя — сказывался возраст. Лев Николаевич решил взять с собой яснополянского доктора Душана Маковицкого. Этот симпатичный словак был не только врачом, но и сподвижником. Толстой ему доверял.

Маковецкий начал собираться, не задавая вопросов. Как последователь и ученик он поступил правильно, но, как доктор, совершил профессиональную ошибку — восьмидесятидвухлетнему Льву Толстому подобное приключение в итоге оказалось не по силам.

Жизнь Льва Николаевича близилась к концу. Всего десять дней оставалось ему.

Александра Львовна при виде одетого отца испытала радость. Она радовалась за него, радовалась, что он наконец-то решился разорвать путы и зажить свободно, вольно.

Сборы были недолгими и тихими — Софья Андреевна так и не проснулась. Уже трясаясь в пролетке, Лев Николаевич задумался о том, куда они с Маковецким едут. Хотелось уехать подальше, туда, куда не дотянутся руки жены, сыновей и дорогого Владимира Григорьевича. Дочери Лев Николаевич сказал, что едет в Шамордино, в монастырь, где жила в монахинях сестра Мария Николаевна. Он страстно хотел увидеться с сестрой, бывшую для него олицетворением той, давно уже позабытой, светлой части его жизни.

Доехав до станции Щекино, беглецы дождались первого же поезда и уехали на нем. Было решено ехать в Оптину пустынь, а затем в Шамордино. Дорога выдалась для Льва Николаевича тяжелой — в душных прокуренных вагонах нечем было дышать, и вдобавок попутчики, узнав его (ах, надо было меньше позировать фотографам!), докучали с разговорами.

С пересадкой доехали до Козельска, откуда отправили две телеграммы — Саше и Черткову и на нанятой бричке выехали в Оптину пустынь, где впервые за много дней, если не лет, Лев Николаевич спокойно заснул.

А в Ясной Поляне о спокойствии позабыли. Узнав от дочери об отъезде мужа и прочитав его письмо, Софья Андреевна побежала в парк, где не очень убедительно

изобразила попытку утопиться в пруду. Когда ее вытащили из воды и привели домой, она принялась просить Александру Львовну протелеграфировать отцу, что его жена утопилась.

Дочь не поддалась. Она вообще не любила свою мать и, надо признать, имела для того вескую причину. Когда умер Ванечка, Софья Андреевна простонала, заламывая руки: «Почему он? Почему не Саша?» Присутствовавшие при этом слуги запомнили эти слова, и со временем о них узнала сама Саша.

Софья Андреевна попыталась вновь отправиться к пруду, но дала слугам возможность удержаться себя. Далее она впала в подлинное неистовство, то и дело угрожая окружающим новым способом самоубийства. Вызванный из Тулы доктор диагностировал, как и ожидалось, истерический припадок. Встревоженная, Александра Львовна отправила телеграммы сестре и братьям с просьбой приехать как можно скорее. Она искренне радовалась тому, что Лев Николаевич находится далеко от Ясной Поляны и ему не приходится участвовать в творящемся вокруг безумии.

Чертков, которому Толстой в телеграмме сообщил о своем местонахождении, отправил в Оптину пустынь гонца — своего юного секретаря Алешу, сына беллетриста Петра Сергеенко. Тот рассказал Льву Николаевичу последние новости, сообщил, что жена и дети намерены отправить по его следам полицию и передал два письма — ободряющее от Саши и неуместно-радостное от Черткова.

«Не могу выразить Вам словами, — ликовал Чертков, — какую для меня радостью было известие о том, что Вы ушли. Всем существом сознаю, что Вам надо было так поступить и что продолжение Вашей жизни в Ясной, при сложившихся условиях, было бы с Вашей стороны нехорошо. И я верю тому, что Вы достаточно

долго откладывали, боясь сделать это «для себя», для того, чтобы на этот раз в Вашем основном побуждении не было личного эгоизма. А то, что Вы по временам неизбежно будете сознавать, что Вам в Вашей новой обстановке и лично гораздо покойнее, приятнее и легче — это не должно Вас смущать. Без душевной передышки жить невозможно. Уверен, что от Вашего поступка всем будет лучше, и прежде всего бедной Софье Андреевне, как бы он внешним образом на ней ни отразился».

Чертков не понимал, а скорее всего делал вид, что не понимает всех мотивов бегства Толстого, сводя их только к желанию избавиться от мелочной опеки Софьи Андреевны и совершенно забывая о себе.

Лев Николаевич подыграл ученику — не хотелось лишних слов и лишней переписки. Так, в письме к Александре Львовне он называет Черткува «самым близким и нужным» ему человеком, а самому Черткову пишет: «Жду, что будет от семейного обсуждения — думаю, хорошее. Во всяком случае, однако, возвращение мое к прежней жизни теперь стало еще труднее — почти невозможно, вследствие тех упреков, которые теперь будут сыпаться на меня, и еще меньшей доброты ко мне. Входить же в какие-нибудь договоры я не могу и не стану. Что будет, то будет. Только бы как можно меньше согрешить».

Нет сомнений, что пожелай Лев Николаевич отделаться от одной лишь жены, он бы не поехал в такую даль, а нашел бы приют у Черткува. Кто-кто, а Чертков бы сумел оградить Толстого от Софьи Андреевны.

Из Оптиной пустыни втроем выехали в Шамордино, расположенное в четырнадцати верстах пути. Встреча с сестрой оказалась для Льва Николаевича радостной. У Марии Николаевны как раз гостила дочь Елизавета. Обе женщины проявили к Толстому максимум учас-

тия, выслушали, попытались успокоить. Лев Николаевич сказал сестре, что с радостью постригся бы в монахи, если его не понуждали бы молиться.

Шамордино понравилось Толстому своим спокойствием и дешевизной. Избу здесь можно было снять всего за три рубля в месяц. Лев Николаевич решил, что здесь, близ сестры, он и будет коротать свой век. Он надеялся, что в далеком Шамордине никто не станет его беспокоить.

Увы, надеялся Толстой зря.

Сначала засыпали письмами дети. Кроме Александры и Сергея все остальные поддерживали мать. «Ведь тебе 82 года и маме 67. Жизнь обоих вас прожита, но надо умирать хорошо», — убеждал Илья. «По долгу своей совести должен тебя предупредить, что ты своим окончательным решением убиваешь мать», — пугал Андрей. Сергей, наоборот, ободрял: «Думаю также, что если даже с мамой что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я думаю, что избрал настоящий выход». Дипломатичная Татьяна умела найти самые простые и подходящие слова: «Никогда тебя осуждать не буду. О маме скажу, что она жалка и трогательна. Она не умеет жить иначе, чем она живет. И, вероятно, никогда не изменится в корне».

Написала и Софья Андреевна, не могла не написать. Письмо ее с первых же строк вызывало раздражение: «Левочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства, — шантажировала она. — Левочка, друг всей моей жизни, все, все сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка... Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом; а мне одно нужно, нужна твоя любовь, необходимо повидаться с тобой.

Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Левочка, я все ищу тебя и зову. Какое истязание моей душе».

«Свидание наше и тем более возвращение мое теперь совершенно невозможно, — отвечал ей Лев Николаевич. — Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение, вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния, стало бы, если это только возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом, на время положении, а главное — лечиться».

Вдали от дома думалось и писалось хорошо, вольготно. Так же как и дышалось. Мысли текли плавным потоком, одно слово тянуло за собой другое. «Если ты не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постарайся помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание и попытки самоубийства, более всего другого показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь невыносимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня, и, главное, самое себя никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь, — теперь мое возвращение, а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь».

Толстой сообщил жене, что уезжает из Шамордина. Он понимал, что здесь ему покоя не будет, тем бо-

лее что приехавшая к отцу в Шамордино Александра Львовна обрисовала перспективы позорного возвращения в Ясную Поляну под конвоем полиции. «Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Письмо твое — я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнить то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний и требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой невыносима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я [не] считаю себя вправе сделать это. Прощай, милая Соня, помогай тебе Бог».

В завершение он нашел нужным еще раз предостеречь жену от попыток самоубийства, в глубине души, несомненно, считая все эти попытки фарсом. Но — порой стреляет и незаряженное ружье, лишнее предостережение не помешает: «Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права, и мерять ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо».

Насчет себя он знал, был уверен, что непременно проживет остаток своей жизни хорошо, так, как ему хочется.

Возможный маршрут дальнейшего бегства вел за границу — в Болгарию, а лучше даже в Грецию. Но для выезда за пределы империи нужно было получить паспорта. В качестве альтернативы рассмотрели вариант поселения в колонии толстовцев на Кавказе.

Рано утром 31 октября беглецы покинули Шамордино и в Козельске сели на поезд, следовавший в Ростов-на-Дону. «Свита» Льва Николаевича выросла — кроме Маковецкого и Сергеевко его сопровождали

Александра Львовна в компании с «толстовкой» Варварой Феокритовой, жившей в то время в Ясной Поляне. С Варварой Александра и приехала к отцу.

В поезде Льву Николаевичу стало плохо — сказались усталость и сильные волнения последних дней. У него поднялась температура, стала нарастать одышка. К тому же Александре показалось, что за ними следят два господина подозрительной наружности. Проводник, к которому она обратилась с расспросами, подтвердил ее догадки, сказав, что подозрительная парочка — переодетые в штатское полицейские агенты.

«Не могу описать того состояния ужаса, которое мы испытывали, — вспоминала позднее Александра Львовна. — В первый раз в жизни я почувствовала, что у нас нет пристанища, дома. Накуренный вагон второго класса, чужие и чуждые люди кругом, и нет дома, нет угла, где можно было бы приютиться с больным стариком».

Ночь в поезде выдалась очень тяжелой. Стало ясно, что до Ростова Лев Николаевич не доедет. Рано утром путники сошли с поезда на станции Астапово, начальник которой любезно предложил знаменитому писателю и его сопровождающим две комнаты в своем доме, расположенном неподалеку.

На следующий день температура спала, и Лев Николаевич решил продолжать путь. Он продиктовал дочери телеграмму для Черткова: «Вчера захворал, пассажиры видели, ослабевши шел с поезда, очень боюсь огласки, нынче лучше, едем дальше, примите меры, известите». Александра Львовна, не разделявшая отцовского оптимизма, уговаривала его повременить с отъездом. Толстой согласился, добавив, что не хочет видеть никого, кроме Черткова. «Вчера слезли в Астапове, сильный жар, забытье, утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать невыносимо, выражал желание ви-

дется с вами», — сразу же телеграфировала Черткову Александра Львовна.

Сыну Сергею и дочери Татьяне Лев Николаевич написал письмо, прощальное по духу и содержанию. Он уже чувствовал надвигающуюся кончину.

«Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас, — говорилось в письме. — Призвание вас одних без мамá было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю, ошибаюсь или нет — его важность для всех людей, и для вас в том числе. Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал».

Снова поднялась температура, обволакивающей волной накатила слабость, появился насадный кашель. Маковицкий вместе с местным доктором диагностировали воспаление легких. В отчаянии Александра Львовна телеграммой вызвала в Астапово брата Сергея, попросив его захватить с собой доктора Никитина. В ночь на второе ноября состояние Толстого продолжало ухудшаться.

Тем временем в Ясной Поляне Софья Андреевна, при которой неотлучно дежурили врач-психиатр и медсестра, писала мужу пространные письма, в которых не забывала оправдать себя, утверждая, что не собиралась в ту злополучную ночь читать его дневник, а всего лишь хотела убедиться в том, на месте ли заветная тетрадь.

Нелепо, надуманно, но ничего лучше она придумать не могла.

Графине сообщил о новом местонахождении Толстого один из корреспондентов газеты «Русское слово». В своей телеграмме он сообщил и о том, что Лев Николаевич тяжело болен, у него высокая температура.

Разумеется, Софья Андреевна тотчас же сорвалась с места и помчалась к мужу, которого, несмотря ни на что, продолжала любить. Пусть — по-своему, пусть — мучительно и мученически, но — любить!

Несмотря на скоропалительные сборы, графиня позаботилась о множестве мелочей, включая и удобную подушку, которые могли бы, по ее мнению, пригодиться мужу. На вокзале в Туле обнаружилось, что единственный поезд на Астапово (в нем уехал Сергей Львович — доктор Никитин должен был приехать прямо из Москвы, где он жил) уже ушел, но сутки терять не пришлось — из уважения к Толстому и его семье начальник вокзала распорядился предоставить в распоряжение Софьи Андреевны и ее спутников экстренный поезд.

Утром 2 ноября приехал Чертков. Встреча была радостной и печальной одновременно — оба ее участника не могли сдержать слез. Вскоре начальник станции сообщил Александре Львовне, что к ночи ожидается приезд в Астапово графини Толстой с детьми. Сообщение об этом было передано по железнодорожному телеграфу.

Дочь решила не пускать мать к отцу, пока тот сам не захочет ее видеть.

Незадолго до Софьи Андреевны в Астапово приехали Сергей Львович. Сергей повидался с отцом и нашел, что тот очень плох.

Около полуночи до Астапова добрались остальные члены семьи Толстых. Доктор Маковицкий не пустил никого из вновь прибывших ко Льву Николаевичу. Постояв перед домом, они вернулись в свой вагон, который уже отцепили от поезда и поставили на запасном пути.

Утром 3 ноября явился доктор Никитин. Осмотрев Толстого, который чувствовал себя несколько лучше, Никитин прописал ему две-три недели постельного режима. Толстой нехотя подчинился.

Софья Андреевна не могла найти себе места в вагоне. Почему ее не пускают к мужу, а Чертков вхож к нему в любое время?

Приезд жены и сыновей скрывали от Толстого. Лев Николаевич был уверен, что все они находятся в Ясной Поляне, и диктовал сыновьям телеграммы, убеждая их удержать мать от приезда.

Тайное стало явным благодаря той самой, захваченной из дома, подушечке, которую Софья Андреевна упростила Маковицкого передать мужу. Толстой подушечку немедленно узнал и потребовал объяснений. Доктор «признался», что получил подушечку от Татьяны Львовны. Толстой пожелал немедленно увидеться с дочерью.

Вскоре в Астапово понаехали падкие на сенсации журналисты, с которыми скучающая Софья Андреевна охотно общалась. На несколько дней Астапово стало «центром» Российской империи.

Лев Николаевич, благодаря самоотверженности хранителей его покоя, о том, что творится вокруг, и не подозревал. Состояние его продолжало оставаться нестабильным.

Утром 4 ноября он понял, что умирает. «Может быть, умираю, а может быть... буду стараться...» — слезило с потрескавшихся губ. Вскоре начался бред, которым сопровождалось каждое повышение температуры.

Софья Андреевна неоднократно пыталась проникнуть к мужу, но «пособник дьявола» Алеша Сергеенко, несмотря на молодость, оказался превосходным стражем — всякий раз графиня возвращалась в вагон несолено хлебавши.

5 ноября состояние Толстого ухудшилось еще сильнее. В Астапово приехал срочно вызванный из Москвы доктор Беркенгейм. Он привез с собой удобную мягкую постель, кислородные подушки и лекарства. Осмотрев больного, Беркенгейм ничего утешительного сказать не смог.

Трогательную заботу о больном писателе проявляли железнодорожники, бдительно следившие за тем, чтобы не производить на станции лишнего шума. Даже поезда проходили через Астапово без положенных свистков, извещающих о прибытии и отправлении.

6 ноября количество докторов вокруг Толстого возросло до шести, но все они, увы, были бессильны предотвратить надвигающуюся катастрофу...

Софью Андреевну допустили к мужу лишь ночью 7 ноября, когда тот уже был в бесспамятстве. Она подошла к ложу Толстого, поцеловала его в лоб и упала на колени, сказав: «Прости! Прости меня!» Она добавила еще несколько никем не услышанных фраз, пока не позволила увести себя.

Он умер на ее глазах в пять минут седьмого.

Любви настал конец, осталась только память...

Приложение

ДЕТИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА И СОФЬИ АНДРЕЕВНЫ

Александра (1884–1979)

Алексей (1881–1886)

Андрей (1877–1916)

Иван (1888–1895)

Илья (1866–1933)

Лев (1869–1945)

Мария, в замужестве Оболенская (1871–1906)

Михаил (1879–1944)

Николай (1874–1875)

Петр (1872–1873)

Сергей (1863–1947)

Татьяна, в замужестве Сухотина (1864–1950)

Литературно-художественное издание

Серия «Кумиры. Истории Великой Любви»

Шляхов Андрей Леонович

Лев Толстой и жена

Смешной старик со страшными мыслями

Редактор *М.П. Николаева*

Корректор *И.Н. Мокина*

Технический редактор *Е.П. Кудиярова*

Компьютерная верстка *Г.А. Сениной*

Подписано в печать 19.10.10.

Формат 84x108^{1/32}. Усл. печ. л. 18,48.

Тираж 4000 экз. Заказ № 3098и.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. За

ООО «Издательство АСТ»
141100, РФ, Московская обл., г. Щёлково, ул. Заречная, д. 96.

Электронный адрес:

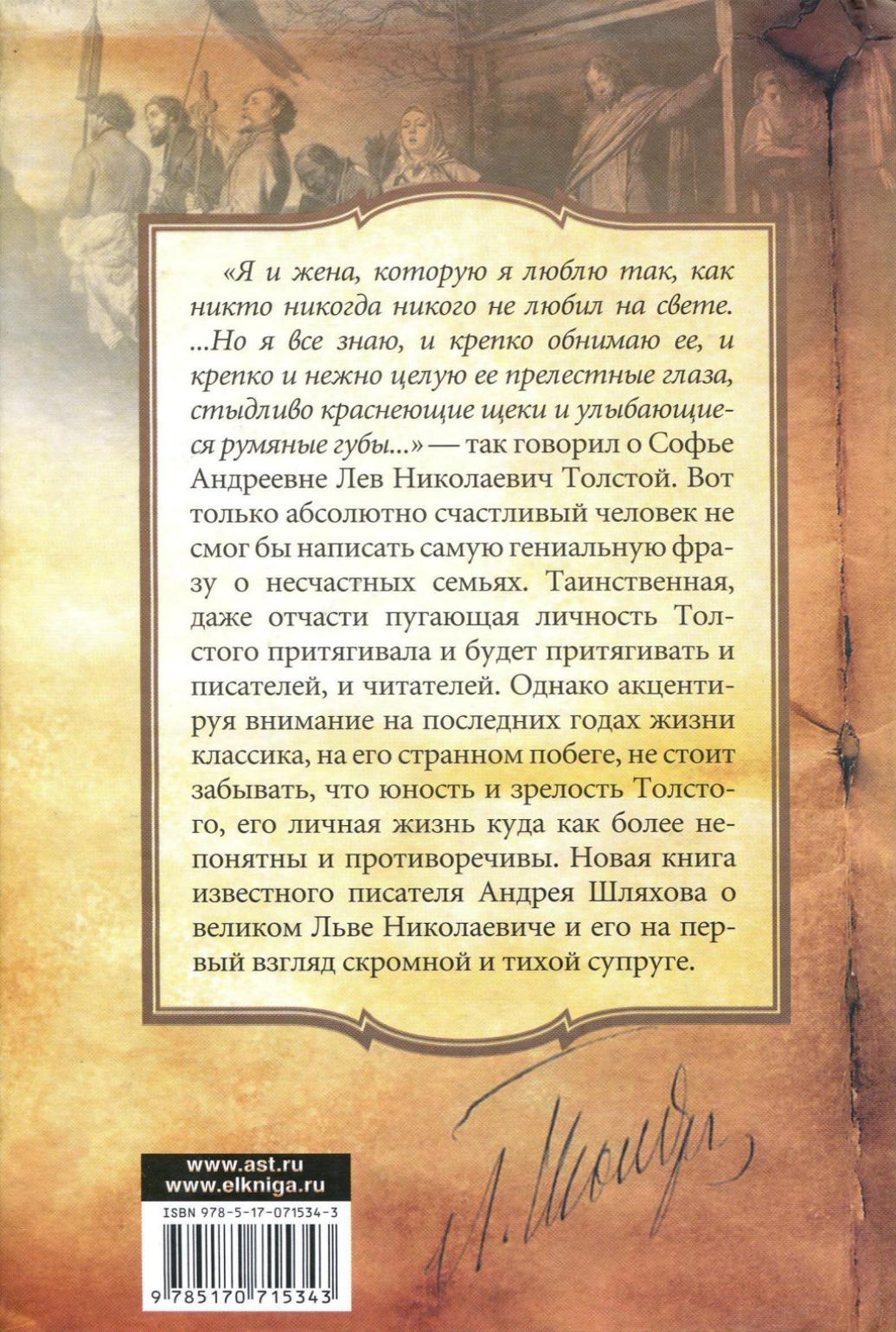
www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

ОАО «Владимирская книжная типография»

600000, г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 7.

Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов



«Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете. ...Но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы...» — так говорил о Софье Андреевне Лев Николаевич Толстой. Вот только абсолютно счастливый человек не смог бы написать самую гениальную фразу о несчастных семьях. Таинственная, даже отчасти пугающая личность Толстого притягивала и будет притягивать и писателей, и читателей. Однако акцентируя внимание на последних годах жизни классика, на его странном побеге, не стоит забывать, что юность и зрелость Толстого, его личная жизнь куда как более непонятны и противоречивы. Новая книга известного писателя Андрея Шляхова о великом Льве Николаевиче и его на первый взгляд скромной и тихой супруге.

www.ast.ru
www.elkniga.ru

ISBN 978-5-17-071534-3



9 785170 715343

А. Шляхов